

8р2
Ф-18
73 г зенев.

Скай Коммунистическая партия (большевиков).

„Пролетарі! всіхъ странъ, соединяйтесь!”

КОММЕНТАРИИ

КЪ РОМАНУ

И. С. ТУРГЕНЕВА

„РУДИНЪ”.

ПОСОБІЕ ДЛЯ ИЗУЧЕНІЯ РОМАНА.

СОСТАВИЛЪ

В. Б. Данилевъ.

ЦВІТКА 4 1910.

Издательство „КОММУНИСТЪ”.

Софійська д. 8,
Рибниковъ пер.
Совѣтськъ,
Центральна площа.

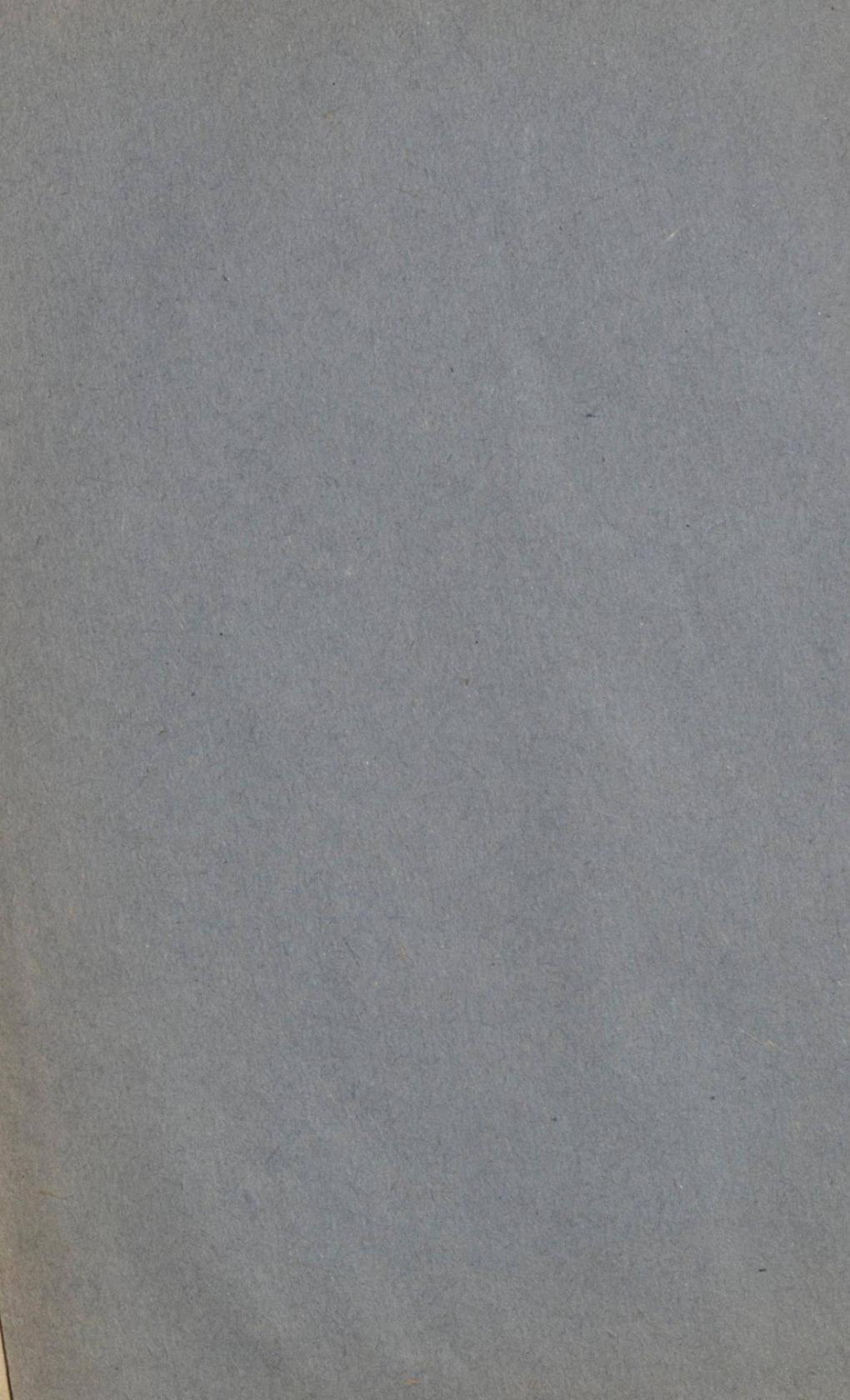
Петроградъ, Поварской пер., д. 2,
кв. 9, 10 и 11. Тел. 227-42.
Петроградъ, Литейный пр., д. 43.

83.3P5-8
K63

42964

8р2 | 15776
8=18 | B.B. Замилов
коммент. к роману
И.С. Тургенев "Рудин"

~~87928~~
15776
K.



К

Тург.

83.3Р5-8
К63

Российская Коммунистическая партия (большевиков).

„Пролетарии всъхъ странъ, соединяйтесь!“

КОММЕНТАРИИ

къ РОМАНУ

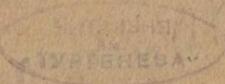
И. С. ТУРГЕНЕВА

„РУДИНЪ“.

ПОСОБIE ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ РОМАНА.

СОСТАВИЛЬ

В. В. Даниловъ.



Книгоиздательство „КОММУНИСТЬ“.

Москва, Срѣтенка, д. 8,
уг. Рыбникова пер.
Москва, 2-й домъ Совѣтовъ,
Театральная площадь.

Петроградъ, Поварской пер., д. 2,
кв. 9, 10 и 11. Тел. 227-42.
Петроградъ, Литейный пр., д. 48.

955 г.

1962 г.

ПРОВЕРЕН 11.12.2009

№ 44

1972 г.

ПРОЗЕРЕНО

ПРОЗЕРЕНО 2014

МОСКВА.

Типографія Т-ва И. Д. Сытина, Пятницкая ул., соб. д.
1918.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

Стр.

I. Исторія написанія романа	5
---------------------------------------	---

Глава I.

II. Посѣщеніе Александрой Павловной Липиной больной старухи	6
III. Камеръ-юнкеръ баронъ Муффель	—
IV. Проживающій въ Одессѣ благопотребный старецъ Роксоланъ Медіаровичъ Ксандрыка	7

Глава II.

V. Домъ Д. М. Ласунской, сооруженный по рисункамъ Растреля во вкусѣ прошедшаго столѣтія	8
VI. „Салонъ уже начался“	9
VII. Разсказъ Пигасова о помѣщицѣ Еленѣ Антоновнѣ Чепузовой	—
VIII. Грибоѣдовскій стихъ, приводимый Дарьей Михайловной	10
XI. Насмѣшки Пигасова надъ малорусскимъ языкомъ и литературою .	11

Глава III.

X. Нападки Пигасова на общія разсужденія	12
XI. Токвиль	14
XII. Рудинъ—путешествующій принцъ	—

Глава IV.

XIII. Madame Récamier	—
XIV. Canning—Каннингъ	15

Глава V.

XV. „Поэзія—языкъ боговъ“	—
XVI. Самообличеніе Рудина	—
XVII. „О честности высокой говорить“	16
XVIII. Синій чулокъ	—

Глава VI.

XIX. Прошло два мѣсяца	17
XX. Отношеніе Рудина къ членамъ дома Ласунской	—
XXI.	—
XXII. „Фаустъ“ Гёте	18
XXIII. Гофманъ	—
XXIV. Письма Беттины	—
XXV. Новалисъ	—
XXVI. Германская поэзія	19
XXVII. Взгляды Рудина на любовь	20
XXVIII. Печоринство въ характерѣ Рудина	—

Стр.

XXIX. Рудинъ-Тартюфъ	22
XXX. Покорскій	—
XXXI. Философскія идеи кружка Покорскаго	26
XXXII. Участники кружка Покорскаго	30
XXXIII. Рудинъ-Бакунинъ	32
XXXIV. Рудинъ и общія черты русской интеллигенціи 30—40-хъ годовъ	35
XXXV. Лежневъ—подражатель Байрона	38
XXXVI. Павель и Виргинія	39
XXXVII. Наталя въ характеристицѣ Лежнева	—

Глава VII.

XXXVIII. Мнѣніе Рудина о призваніи женщины	40
XXXIX. Ла-Рошфуко	—
XL. Рудинъ—куцый	—

Глава IX.

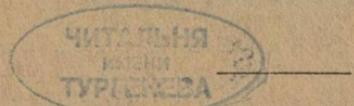
XLI. Лавласъ	41
XLII. Свиданіе Рудина съ Натальей у Авдюхина пруда	—

Глава XI.

XLIII. Сравненіе Рудина съ Донъ-Кихотомъ	43
XLIV. Письмо Рудина къ Натальѣ	—
XLV. Душевное состояніе Наталии послѣ получения письма Рудина	45
XLVI. „Кто чувствовалъ, того тревожитъ“	—

Глава XII.

XLVII. Корчагинъ	—
XLVIII. Націоналистическая идеи Лежнева	46
XLIX. Настойчивость въ характерѣ Рудина	48
L. Учительство Рудина	49
LI. Рудинъ и Гамлетъ Щигровскаго уѣзда	50
LII. Противорѣчіе въ словахъ Рудина	—
LIII. „Смерть должна примирить“	51
LIV. „Наши дороги разошлись“	—
LV. Мистическое значеніе странствованій Рудина	53
LVI. „Національныя мастерскія“	54
LIX. Изображенія природы въ романѣ Рудина	56
LX. Взгляды на Рудина людей 40-хъ годовъ и представителей русской мысли 50—60-хъ годовъ	58
LXI. Двойственное отношение Тургенева къ Рудину	64
LXII. Вліяніе исторического момента на двойственное отношение Тургенева къ Рудину	68
LXIII. Иностранные критики о Рудинѣ	72
LXIV. Литературные образы, напоминающіе Рудина	73



42964

I. Історія написання романа.—На рукописі «Рудина» Тургеневимъ сдѣлана надпись: «Начать 5 іюня 1855 г. въ воскресенье, въ Спасскомъ, оконченъ 24 іюля въ воскресенье, тамъ же, въ 7 недѣль. Напечатанъ съ большими прибавленіями въ январской и февральской книжкахъ «Современника» 1856 г.». Изъ записи видно, что «Рудинъ» былъ передѣлываемъ авторомъ уже послѣ того, какъ былъ написанъ. О томъ же говорить письмо Тургенева къ С. А. Аксакову изъ Спасскаго отъ 3 августа 1855 г.: «Я воспользовался уединенiemъ и бездѣйствиемъ и написалъ большую повѣсть... Я ни надъ однимъ моимъ произведенiemъ такъ не трудился и не хлопоталъ, какъ надъ этимъ; конечно, это еще не ручательство; но, по крайней мѣрѣ, самъ передъ собой правъ. Коли Пушкины и Гоголи трудились и передѣлывали десять разъ свои вещи, такъ ѿжь намъ, маленькимъ людямъ, самъ Богъ велѣль». (Вѣстникъ Европы, 1894, книга 2). Въ другихъ письмахъ Тургеневъ сообщаетъ, что работа надъ романомъ подвигалась не особенно быстро. 10 іюля онъ пишетъ Краевскому: «Такая жара, что невозможно писать». Дружинину: «Хандрю... и лишь изрѣдка могу заставить себя работать». (Первое собрание писемъ И. С. Тургенева, 12). Если принять это во вниманіе, то надо заключить, что Тургеневъ писалъ романъ не планомѣрно всѣ семь недѣль, а только урывками. Получается, такимъ образомъ, сравнительно короткій срокъ работы для произведенія порядочныхъ размѣровъ, какимъ является «Рудинъ» въ настоящей редакції. Отсюда ясно, почему романъ былъ напечатанъ съ большими прибавленіями: первоначальная редакція была мала для романа, не развита.

Заглавіе романа первоначально предполагалось Тургеневымъ другое—«Геніальная натура». Эти слова въ примѣненіі къ Рудину сохранились въ романѣ въ XII главѣ. Лежневъ говоритъ про него: «Онъ не мелкій человѣкъ».—«Рудинъ—гениальная натура!»—подхватилъ Басистовъ.—«Гениальность въ немъ, пожалуй, есть,—возразилъ Лежневъ,—а натура... Въ томъ-то вся его бѣда, что натуры-то собственно въ немъ нѣтъ». Такая точка зрѣнія на Рудина заставила Тургенева измѣнить заглавіе романа. Вмѣстѣ съ тѣмъ, здѣсь указаніе на то, что взглянуть на Рудина у Тургенева сложился не сразу. Вначалѣ онъ самъ считалъ его геніальной натурой, разъдалъ такое заглавіе роману, но впослѣдствіи измѣнилъ воззрѣніе на своего героя и посмотрѣлъ на его характеръ критически, что отразилось въ приведенныхъ словахъ Лежнева.

Въ яиварской книжкѣ «Современника» были напечатаны первыя шесть главъ романа, въ февральской—остальное. Эпизода смерти Рудина въ журнальной редакціи нѣтъ,—онъ былъ добавленъ Тургеневымъ впослѣдствіи.

ГЛАВА I.

II. *Поспѣщеніе Александрой Павловной Липиной больной старухи.* Американскій писатель Бойзенъ въ своихъ воспоминаніяхъ о Тургеневѣ («Минувшіе годы», 1908, VIII, 69) передаетъ слова нашего писателя: «Всякая написанная мной строчка вдохновлена чѣмъ-либо, или случившимся лично со мной, или же тѣмъ, что я наблюдалъ». Можно поэтому полагать, что Тургеневъ началъ свой романъ изображеніемъ больной умирающей крестьянки подъ вліяніемъ царившей лѣтомъ 1855 года въ окрестностяхъ Спасскаго эпидеміи холеры. Въ письмѣ отъ 3 августа этого года онъ пишетъ С. Т. Аксакову: «Какъ вы провели лѣто, которое уже на исходѣ? Я его провелъ весьма однообразно—почти не выѣзжалъ, не охотился—у насъ вездѣ была холера и довольно сильная; я ея побаиваюсь—дома-то все ничего, а заѣдешь въ какую-нибудь деревню—и вдругъ придется умирать въ сѣнномъ сараѣ—скверно!»

Проф. Орестъ Миллеръ пользуется даннымъ эпизодомъ для «трицательной характеристики Рудина и общества, изображенаго въ романѣ: «Мѣсто дѣйствія романа—барскій салонъ въ стилѣ XVIII вѣка. Міръ, окружающій его, совершенно не существуетъ для проживающихъ въ немъ и даже для его просвѣтительного оратора и трибуна Рудина. А рядомъ этотъ міръ—душная изба, большая горячкой старуха, куда заглядываетъ самая неразвитая личность повѣсти, Александра Павловна».

III. *Камеръ-юнкеръ баронъ Муффель.*—Н. В. Шелгуновъ придаетъ образу барона Муффеля обобщающее значеніе, въ смыслѣ «трицательной характеристики героевъ романа, не исключая Рудина: «Дѣйствительной жизни,—говорить Шелгуновъ,—такой, какая существуетъ для огромнаго большинства человѣчества, онъ не зналъ; но зато ему была коротко знакома искусственная жизнь обезпеченнѣхъ людей, жившихъ за плечами своихъ мужиковъ, какъ у Христа за пазухой. Жизнь этихъ болтуновъ была постоянною праздностью и вся дѣятельность ихъ сосредоточивалась въ однихъ разговорахъ и въ общихъ разсужденіяхъ о предметахъ, не имѣвшихъ ровно никакого отношенія ко всему тому, что ихъ окружало. Это были люди сильно возбужденной фантазіи и общихъ разсужденій. Припомните камеръ-юнкера барона Муффеля. Дарья Михайловна познакомилась съ нимъ у князя Гагарина,—тургеневскіе герои всегда князья, графы, камеръ-юнкеры и вообще люди знатнаго происхожденія и большихъ чиновъ,—этотъ почтенный камеръ-юнкеръ и баронъ обратилъ на себя вниманіе Дарьи Михайловны, плѣнивъ ее великосвѣтской блестящей болтовней и, написавъ политico-экономическую статью, желалъ подвергнуть ее

суду Дарьи Михайловны. Въ статьѣ этой трактовалось обѣ отношенияхъ промышленности къ торговлѣ въ Россіи. Неправда ли, какъ все это глупо!.. Ну, съ чего этому камер-юнкеру писать политico-экономическую статью, и почему понадобилось ему непремѣнно представить свою статью на судъ Дарьи Михайловны? Занимаешь тебя вопросы экономические,—изслѣдуй ихъ, пиши, печатай, представляй ихъ на судъ публики или въ видѣ проекта министру финансовъ. Конечно, такой способъ дѣйствія обнаружилъ бы стремленіе къ дѣйствительному дѣлу, чго вовсе не было въ головѣ блистательныхъ, великосвѣтскихъ героевъ Тургенева. Вся суть ихъ жизни заключалась въ вѣчномъ желаніи рисоваться и щеголять красивыми словами. И политico-экономическая статья Муффеля была точно такъ же не больше, какъ желаніе порисоваться въ великосвѣтскомъ дамскомъ салонѣ.

Какъ относился самъ Рудинъ къ занятіямъ наукой бароновъ Муффелей, видно изъ діалога между нимъ и Пигасовымъ во II главѣ.

— «Господинъ баронъ Муффель,—спросилъ Пигасовъ,—специально занимается политической экономіей, или только таѣ, посвящаетъ этой интересной наукѣ часы досуга, остающагося среди свѣтскихъ удовольствій и занятій по службѣ?

Рудинъ пристально посмотрѣлъ на Пигасова.

— Баронъ въ этомъ дѣлѣ дилетантъ,—отвѣтилъ онъ, слегка краснѣя,—но въ его статьѣ много справедливаго и любопытнаго».

IV. Проживающій въ Одессѣ благопотребный старецъ Роксоланъ Медіаровичъ Ксандрѣка.—Больше имя Ксандрѣки въ романѣ не упоминается. Нынѣшнему читателю это имя, съ эпитетомъ «благопотребный старецъ», ничего не говорить. Но Тургеневъ, повидимому, полагалъ, что нѣкоторымъ изъ его современниковъ это имя, съ приведеннымъ эпитетомъ, кое-что скажеть.

Кого же онъ могъ имѣть въ виду подъ именемъ Ксандрѣки?

Романъ «Рудинъ» былъ написанъ въ 1855 году. За годъ до того, 13 июня 1854 года, скончался когда-то участникъ Вѣнскаго конгресса, дѣятель царствованія императора Александра I, вооружившійся противъ европейскаго просвѣщенія, центрами котораго были тогда германскіе университеты, религіозно-нравственный писатель, молдаванинъ по происхожденію, Александръ Скарлатовичъ Стурдза.

Значительную часть жизни Стурдза прожилъ въ Одесѣ, гдѣ писалъ и издавалъ такія сочиненія, какъ «Вѣра и вѣданіе, или разсужденіе о необходимости согласія между богооткровенной религіей и наукой въ дѣлѣ преподаванія въ народныхъ школахъ», «Очеркъ христіанской жизни и смерти», «Письма о должностяхъ священнаго сана», «Ручная книга православнаго христіанина» и проч.

Извѣщенія о смерти Стурдзы появились въ «Москвитянинѣ» Погодина и «Сѣверной Пчелѣ». Первый писалъ: «Изъ Одессы сообщаютъ о кончинѣ одного изъ тамошнихъ почетнѣйшихъ согражданъ знаменитаго въ Европѣ (за исключеніемъ редакцій пе-

тербургскихъ журналовъ) своими литературными трудами А. С. Стурдзы» («Москвитянинъ», 1854, т. IV, отд. V, стр. 144). Въ слѣдующемъ году журналъ снова напомнилъ о Стурдзѣ, перепечатавъ изъ «Одесского Вѣстника» «Краткое свѣдѣніе о жизни и трудахъ А. С. Стурдзы» («Москв.» 55 г., т. I, № 4). Статья эта написана славо-умилительнымъ слогомъ, отзывающимъся вліяніемъ сколастическаго семинарскаго языка: «Въ 1806 году благовоспитанный юноша Александръ Стурдза поступилъ на службу ...»—«Кстати и благоприлично здѣсь привести одинъ примѣръ тогдашняго его мышленія...»—Старецъ признавался дочери: «Ахъ, на закатѣ жизни трудно человѣческому уму обитать въ развалинахъ тѣла!» И, однакоже, вѣчно юный умъ и соображеніе старца теплились и сяяли въ дряхлѣющемъ тѣлѣ». Брядъ ли не подъ вліяніемъ этой статьи съ ея извѣтіями словесь, въ родѣ подчеркнутаго, у Тургенева явился эпитетъ «благопотребный старецъ». Указаніе на мѣсто жительства Ксандрыки въ Одессѣ является біографическою чертою для Стурдзы.

«Благопотребный старецъ» Ксандрыка былъ для Тургенева предметомъ насмѣшки. Но упоминаніе о немъ въ «Рудинѣ» отражаетъ не только отношеніе къ Стурдзѣ автора, но вообще тогдашнихъ литературныхъ круговъ не консервативнаго направленія, т.-е. тѣхъ редакцій петербургскихъ журналовъ, о которыхъ бросаетъ замѣчаніе Погодинъ. Тургеневъ діалогомъ Пандалевскаго и Липиной хотѣлъ сказать, что такихъ дѣятелей, какъ Стурдза, въ противоположность утвержденію «Москвитянина», въ Россіи не знаютъ: Липина и «не слыхивала» его имени. Кроме того, упоминаніе о Ксандрыкѣ-Стурдзѣ имѣть художественное значеніе для освѣщенія личности главнаго героя романа. Рудинъ, говорящій передъ Ласунской «о значеніи просвѣщенія и науки, обѣ университетахъ и жизни университетской вообще», изощряется въ краснорѣчіи на эти темы передъ лицомъ, принадлежащимъ къ кругу Стурдзы, который за свое сочиненіе, направленное противъ германскихъ университетовъ, въ 1818 году былъ даже вызванъ на дуэль студентомъ графомъ Бухгольцомъ. Но Рудинъ такъ далекъ отъ дѣйствительности, что не разбирается во всемъ этомъ.

ГЛАВА II.

V. Домъ Дарьи Михайловны Ласунской... сооруженный по рисункамъ Растрелли во вкусъ прошедшаго столѣтія.—Архитекторъ, итальянецъ по происхожденію, графъ Растрелли работалъ въ Россіи въ XVIII вѣкѣ (умеръ въ 1771 году). Ему принадлежить проектъ самого большого и величественнаго Зимняго Дворца въ Петроградѣ. Въ литературныхъ описаніяхъ имя Растрелли служить для указанія художественной старины зданій, напр. у Мельникова-Печерскаго въ повѣстки «Старые годы»: «По ту сторону Зaborья высится на горѣ палаты князей Зaborовскихъ. Величествен-

ный дворецъ, строенный въ прошломъ столѣтіи по плану Растреля, угрюмо смотрѣть на новую, развившуюся подъ его ногами дѣятельность».

VII. «Салонъ үзже начался».—Салоны—явленіе преимущественно французской общественной жизни XVIII и XIX вѣковъ. Салонъ, это—кружокъ лицъ, собиравшихся въ домѣ какой-либо дамы, выдѣлявшейся умомъ и красотою. Такъ какъ во Франціи въ салоны входили писатели и политические дѣятели, то они приобрѣли большое вліяніе на литературную и политическую жизнь. Въ нашей литературѣ изображеніе французской салонной жизни находимъ въ «Письмахъ русского путешественника» Карамзина. Будучи въ Парижѣ, Н. М. Карамзинъ посѣтилъ салонъ госпожи Гло***, «ученой дамы», которая «любить обходиться съ авторами»; собравшиеся говорили, большую частью, о политикѣ. Какъ вообще проводили время въ салонахъ, объ этомъ Карамзину разсказываетъ аббатъ Н*: «У маркизы Д* сбѣжалась самая модная парижская дамы, знатные люди, славнѣйшіе остроумцы; одни играли въ карты, другіе судили о житейской философіи, о нѣжныхъ чувствахъ, пріятностяхъ, красотѣ, вкусѣ; по четвергамъ у графини А* собирались глубокомысленные политики обоего пола, сравнивали Мабли (политического писателя) съ Ж. Жакомъ (Руссо); тамъ по субботамъ у баронессы Ф* читалъ М* примѣчанія свои на книгу Бытія, изъясня любопытнымъ женщинамъ свойство древняго хаоса и представляя его въ такомъ ужасномъ видѣ, что слушательницы падали въ обморокъ отъ великаго страха».

Въ первой четверти XIX столѣтія мода на салоны стала проникать и въ русское великосвѣтское общество. Изображеніемъ петербургскаго салона фрейлины Анны Павловны Шерерь начинается романъ гр. Л. Н. Толстого «Война и миръ». Есть картина Мясоѣдова, изображающая салонъ княгини Зинаиды Волконской: роскошный залъ съ колоннами; за столомъ хозяйка салона; тутъ же Хомяковъ, Жуковскій, Пушкинъ, Боратинскій, князь Вяземскій и другіе. Польскій поэтъ Мицкевичъ читаетъ свои стихи.

Въ примѣненіи къ собранію въ домѣ Ласунской, состоящему, за исключеніемъ Пигасова, только изъ обитателей дома, Тургеневъ употребляетъ слово *салонъ* въ ироническомъ смыслѣ, отмѣняющей комическую сторону въ характерѣ Ласунской, желающей походить на французскихъ дамъ, дѣятельницъ салоновъ, хотя въ ея деревенскомъ салонѣ совсѣмъ неѣтъ людей, которые могли бы поддерживать умственное настроеніе. Этимъ объясняется, почему она рѣшила «приласкать» незнакомаго ей Рудина: онъ очень подходилъ для этой цѣли.

VIII. *Разсказъ Пигасова о помѣщицѣ Еленѣ Антоновнѣ Чепузовой*.—Когда Ласунская не повѣрила тому, что Пигасовъ толкнулъ въ бокъ коломъ «замѣчательно неестественную барышню», между ними произошелъ слѣдующій діалогъ:

— Послѣ этого,—сказалъ Пигасовъ,—вы, пожалуй, также не повѣрите, что наша сосѣдка Чепузова, Елена Антоновна, сама,

замѣтъте, сама мнѣ разсказала, какъ она уморила своего роднаго племянника?

— Вотъ еще выдумали!

— Позвольте, позвольте! Выслушайте и судите сами. Замѣтъте, я на нее клеветать не желаю, я ее даже люблю, насколько, т.-е., можно любить женщину; у ней во всемъ домѣ нѣтъ ни одной книги, кромѣ календаря, и читать она не можетъ иначе, какъ вслухъ—чувствуетъ отъ этого упражненія испарину и жалуется потомъ, что у нея глаза пупомъ полѣзли... Словомъ, женщина она хорошая, и горничная у нея толстая. Зачѣмъ мнѣ на нее клеветать?

— Ну,—замѣтила Дарья Михайловна,—взбрался Африканъ Семенычъ на своего конька — теперь не слѣзть съ него до вечера.

Послѣ этого замѣчанія Ласунской Пигасовъ начинаетъ говорить вообще о женщинахъ, какъ бы забывая про свое намѣреніе разсказать о Чепузовой и ея племянникѣ. Такимъ образомъ, упоминаніе о нихъ имѣтъ въ себѣ что-то недоговоренное. Такъ оно и есть, потому что въ журнальной редакціи романа разсказъ о Чепузовой былъ приведенъ полностью. Послѣ словъ: «Зачѣмъ мнѣ на нее клеветать?» Пигасовъ продолжаетъ: «Ну-съ, встрѣчаю я Чепузову, говорю ей: «Вашъ племянникъ, я слышалъ, скончался»; а она мнѣ: «скончался, батюшка Африканъ Семенычъ, скончался; и вообразите себѣ; говорить она, приходитъ ко мнѣ мой племянникъ и говоритъ: тetenъка, говоритъ, я что-то нездоровъ. А у самого внутри такъ и переливается: бу, бу, бу, бу, бу, бу, бу,... у... у... у, бу, бу, бу,, у... у... у... Онъ мнѣ говоритъ: животъ, тetenъка, у меня болитъ, а я ему: врешь,—это у тебя пахъ болитъ! пахъ! пахъ! Онъ свое твердить, я ему: это у тебя пахъ! пахъ! пахъ! Лечи пахъ! Что же вы думаете вѣдь, не послушался и померъ. А замѣтъте,—подхватилъ съ торжествующимъ лицомъ Пигасовъ:—вѣдь отъ холеры умеръ племянникъ, отъ холеры, а Чепузова: пахъ! пахъ!

— Что за пустяки! Что за пустяки! —твердила сквозь смѣхъ Дарья Михайловна.

— Да клянусь же вамъ честью, такъ и кричать: пахъ! пахъ! Оглушила даже, въ такой азартъ вошла. Словно перестрѣлка поднялась. Пахъ! пахъ! такъ пристала... насилиу отвязалась.

Впослѣдствіи Тургеневъ выпустилъ это мѣсто подъ вліяніемъ замѣчанія С. Т. Аксакова, который писалъ ему 7 февраля 1856 года: Какъ при вашемъ вкусѣ, такъ и чувствѣ приличія могла написаться извѣстная страница (я разумѣю: бурчаніе въ животѣ), страница въ началѣ повѣсти. Воля ваша, а этому причиною цинизмъ петербургскаго общества» (*«Русское Обозрѣніе»*, 1894 г., XII, 578).

VIII. Грибоѣдовскій стихъ, приводимый Дарьей Михайловною.— «Ну, ты, батюшка, я вижу, неисправимъ, хоть брось»,—возразила Дарья Михайловна, слегка искашая Грибоѣдовскій стихъ.

У Грибоѣдова въ *«Горѣ отъ ума»* (IV, 8): «А ты, мой батюшка, неисправимъ, хоть брось».

Искажение Ласунскою Грибоедовского стиха имѣть для ея характеристики то же значеніе, что и ея неудачная попытка, въ IV главѣ, въ разговорѣ съ Рудинымъ, привести русскую пословицу: «Съ больної... какъ это говорится... съ больного на здороваго». Дарья Михайловна хочетъ порисоваться тѣмъ, что она знаетъ русскую литературу и народную рѣчь, но ни въ той, ни въ другой она никакъ не свѣдуща. Въ той же IV главѣ Тургеневъ говоритъ о Ласунской: «Дарья Михайловна изъяснялась по-русски. Она щеголяла знаніемъ роднаго языка, хотя галлицизмы, французскія словечки пошадались у ней частенько. Она съ намѣреніемъ употребляла простые народные обороты, но не всегда удачно. Ухо Рудина не оскорблялось странной пестротой рѣчи на устахъ Дарьи Михайловны, да и врядъ ли имѣлъ онъ на это ухо».

Все это—черты отчужденности общества Муффелей, Ласунскихъ и Рудина—отъ русской національной стихіи, противъ чего въ XII главѣ протестуетъ Лежневъ.

IX. Насмѣшки Пигасова надъ малорусскимъ языкомъ и литературою.—«Если бы у меня были лишнія деньги, я бы сейчасъ сдѣлался малороссійскимъ поэтомъ,—сказалъ Пигасовъ.

— Это что еще? Хорошъ поэтъ!—вразиала Дарья Михайловна:—развѣ вы знаете по-мароссійски?

— Нимало; да оно и ненужно.

— Какъ ненужно?

— Да такъ же, ненужно. Стоить только взять листъ бумаги и написать наверху: «Дума»; потомъ начать такъ: «гой, ты доля моя, доля!» или: «сѣде казачино Наливайко на курганѣ», а тамъ: «по-пидъ горою, по-шидъ зеленою, грае, грае, воропае, гонь! гонь!» или что-нибудь въ этомъ родѣ. И дѣло въ шляпѣ. Печатай и издавай. Малороссъ прочтеть, подопретъ рукою щеку и непремѣнно заплачетъ,—такая чувствительная душа!

— Помилуйте!—воскликнулъ Басистовъ.—Что вы это такое говорите? Это ни съ чѣмъ несообразно. Я живъ въ Малороссіи, люблю ее и языкъ ея знаю... «грае, грае воропае»—совершенная безсмыслица.

— Можетъ-быть, а хохолъ все-таки заплачетъ. Вы говорите: языкъ... Да развѣ существуетъ малороссійский языкъ? Я попросилъ разъ одного хохла перевести слѣдующую, первую попавшуюся мнѣ фразу: «грамматика есть искусство правильно читать и писать». Знаете, какъ онъ это перевель: «храматыка е выскусъство правыльно чытаты ы пысаты...» Что жъ, это языкъ, по-вашему? Самостоятельный языкъ? Да скорѣй, чѣмъ съ этимъ согласиться, я готовъ позволить лучшаго друга истолочь въ ступѣ...»

Въ словахъ Пигасова, можетъ-быть, сказалось насмѣшилово-скептическое отношеніе самого Тургенева къ малорусской литературѣ. Вѣроятность такого предположенія подтверждается письмомъ Тургенева къ извѣстной малорусской писательницѣ Маріи Александровнѣ Марковичъ (псевдонимъ Марко Вовчокъ) отъ 22 мая 1861 года, по поводу издававшагося Бѣлозерскимъ и

Кулишемъ журнала «Основа», посвященного малорусской исторіи и литературѣ и нечатаившагося наполовину по-малорусски, наполовину на литературномъ рускомъ языке.—«Мнѣ дали,—писалъ Тургеневъ,—четыре номера «Основы», изъ которыхъ я могъ заключить, что выше малороссійского племени нѣть ничего въ мірѣ и что въ особенности мы, великороссы, дрянь и ничтожество. А мы, великороссы, поглаживаемъ себѣ бороду, посмѣиваемся и думаемъ: пускай дѣти потѣшатся, пока еще молоды. Вырастутъ—подумають. А теперь они еще отъ собственныхъ словъ пьянѣютъ. И журналъ у нихъ на такой славной бумагѣ—и Шевченко такой великій поэтъ... Тѣшитесь, тѣшитесь, малыя дѣти». («Минувшіе годы», 1908, VIII, 91.)

ГЛАВА III.

X. Нападки Пигасова на общія разсужденія.—«Всѣ эти,—говоритъ Пигасовъ,—такъ называемыя, общія разсужденія, гипотезы тамъ, системы... извините меня... никуда не годятся. Это все одно умствованіе—этимъ только людей морочать. Передавайте, господа, факты, и будетъ съ васъ... Смерть моя, эти общія разсужденія, обозрѣнія, заключенія. Все это основано на такъ называемыхъ убѣжденіяхъ; всякий толкуетъ о своихъ убѣжденіяхъ, и еще уваженія къ нимъ требуетъ, носится съ ними...»

Философско-идеалистическое направленіе молодыхъ представителей русскаго общества 30-хъ годовъ, разсуждавшихъ не иначе, какъ съ точки зрѣнія метафизическихъ началъ, находилъ въ нѣкоторыхъ кругахъ общества отрицательное отношеніе. Такъ, проф. Московскаго университета С. И. Шевыревъ въ письмѣ къ Н. В. Гоголю несочувственно отзыается объ увлеченіяхъ подобнымъ направленіемъ мысли Константина Сергеевича Аксакова, одного изъ главныхъ представителей славянофильтва: «Историческіе взгляды (его) и взгляды на народную жизнь и пѣсню весьма живые, свѣтлые, новые. Но Гоголь подпустилъ дыму, иногда и въ смыслѣ, а всего болѣе въ слогѣ. Что дѣлать? Я люблю душою Константина, несмотря на всѣ его увлеченія. Все въ немъ течетъ изъ такого чистаго, прекраснаго источника: душа сильная и благородная. Но фантазія преобладаетъ въ немъ иногда и увлекаетъ его туда, куда не слѣдуетъ. Тѣмъ онъ вредить и прекрасныиъ своимъ мысламъ... Его дѣло было бы изучать народный бытъ, языкъ, пѣсни, преданія, пословицы. Но Гоголь до сихъ поръ всему мѣшаетъ. Нѣмцы напустили такого тумана въ эту славную русскую голову, что она до сихъ поръ отъ этого болитъ». (Отчетъ «Имп. Публ. Вибл.» 1893 г.) Такъ же относился къ философскимъ увлеченіямъ Константина Аксакова другой проф. того же университета историкъ М. П. Погодинъ: «Непріятнѣйшія извѣстія о К. Аксаковѣ,—записываетъ онъ въ своеемъ дневникѣ 30-хъ годовъ.—Новое направленіе. Толкуютъ о философіи. Дѣйствительно, можетъ причинить вредъ». (Барсуковъ, «Жизнь и труды Погодина», IV, 307). Такъ про-

себя или другъ другу жаловались на философское направление друзъ молодыхъ идеалистовъ. Литературные же и общественные враги сдѣлали это направление предметомъ открытыхъ нападокъ и насмѣшекъ. Особенно выдѣлился въ этомъ отношеніи незаурядный писатель, издатель «Библіотеки для Чтенія», О. И. Сенковскій, славившійся въ свое время подъ псевдонимомъ баронъ Брамбенуэль.—«Нестощимое,—говорить по этому поводу П. В. Анненковъ въ своихъ «Воспоминаніяхъ»,—часто дѣльное и почти всегда єдкое остроуміе Сенковскаго, глумившагося надъ русской quasi-наукой, старалось, вмѣстѣ съ тѣмъ, удалить всякую серьезную попытку къ самостоятельному труду и отравить насмѣшкой источники, къ которымъ трудъ этотъ могъ бы обратиться». Нападки на философскія стремленія сдѣлались въ кругу такихъ журналистовъ консервативно-охранительного направленія, какъ Сенковскій, Фаддей Булгаринъ, Н. И. Гречъ, своего рода знаменемъ. Поэтому, когда Н. А. Полевой, спасая свое существованіе послѣ закрытія издававшагося имъ журнала «Московскій Телеграфъ» за статью, показавшуюся непатріотическою, стала писать въ «Сынѣ Отечества» Гречу, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ перешелъ на сторону враговъ философскаго движенія въ Россіи,—говорить Анненковъ... Отзынаясь теперь презрительно и насмѣшливо о молодыхъ попыткахъ отыскать какія-то особенные начала для жизни и мысли, безъ справки съ опытомъ и условіями времени, Полевой думалъ сдѣлаться необходимымъ человѣкомъ въ томъ кругу людей и понятій, къ которымъ примкнулъ послѣ паденія «Московскаго Телеграфа».

Философское направление становится предметомъ комического изображенія также на страницахъ беллетристическихъ произведений. Такъ, романистъ К. Масальскій въ повѣсти «Донъ-Кихотъ» изображалъ помѣщика Левкоева, увлекавшагося философіей, какъ герой Сервантеса рыцарскими подвигами: «Едва рѣчь, даже слегка и мимоходомъ, касалась философіи, какъ въ головѣ его возставалъ хаосъ, въ которомъ всѣ отвлеченные выраженія новѣйшихъ философовъ: дуализмъ, идеализмъ! идеотизмъ, трансцендентализмъ, макрокосмъ, микрокосмъ, потенцъ, индивидуальность, реальность, объективность, субъективность и прочая, беспорядочно летали и кружили, какъ хлояя сиѣга во время сильной выноги». За это Левкоева собираются помѣстить въ домъ сумасшедшихъ. Въ другой повѣсти—В. А. Ушакова «Піюша», совершенно прозрачно выводится Бѣлинскій, подъ именемъ Висяши, что представляетъ комическую передѣлку имени критика—Виссаріонъ. Этотъ Висяша, судиль и рядиль о Фихте и Гегель и былъ такъ убѣжденъ въ тождествѣ міровъ идеального и реального, что смѣло называлъ презрѣнными невѣждами тѣхъ, которые не понимали знаменитаго тождества. Въ особенности плѣнился Висяша Шеллинговымъ я. Онъ получилъ деньги «изъ московскихъ журналовъ за трансцендентальную и верхоглядную критику, т.-е. за то, что людьми порядочными называется бранью въ печати».

Такимъ образомъ, въ обществѣ 30-хъ годовъ памѣтается въ нѣкоторыхъ кругахъ оппозиція философскому направленію. Художественнымъ выраженіемъ этого въ романѣ «Рудинъ» и является озлобленный Пигасовъ, нападающій на убѣжденія.

XI. *Tocqueville*. «Читали ли вы эту книгу? C'est de Tocqueville, vous-avez?»

И Дарья Михайловна протянула Рудину французскую брошюру.

Рудинъ взялъ тоненьку книжонку въ руки, перевернулъ въ ней нѣсколько страницъ и, положивъ ее обратно на столъ, отвѣчалъ, что собственно этого сочиненія г-на Токвиля онъ не читалъ, но часто размышлялъ о затронутомъ имъ вопросѣ. Разговоръ завязался.

Токвиль—французскій политическій дѣятель и писатель первой половины XIX в. Показывая его брошюру Рудину, Ласунская тѣмъ самымъ давала понять, что она серьезная женщина, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, это было средствомъ возбудить серьезный разговоръ, котораго такъ недоставало для ея салона.

XII. *Rudin*—путешествующій принцъ. «Рудинъ подошелъ къ Натальѣ. Она встала: лицо ея выражило замѣшательство. Волынцевъ, сидѣвшій подлѣ нея, тоже всталъ.—«Я вижу фортепіано,—началъ Рудинъ мягко и ласково, какъ путешествующій принцъ:—не вы ли играете на немъ?»

Этимъ мѣстомъ, какъ доказательствомъ отрицательного отношенія къ Рудину самого автора, пользуется проф. И. И. Ивановъ въ книгѣ «И. С. Тургеневъ. Жизнь, личность, творчество»:—«На его взглядъ,—говорить о Тургеневѣ г. Ивановъ,—герой комиченъ съ самого начала. «Я вижу фортепіано, началъ Рудинъ мягко и ласково, какъ путешествующій принцъ...», и вы чувствуете,—такое заключеніе можно сдѣлать объ артистѣ, только что вызвавшемъ эффектъ, для него вполнѣ привычный и интересный лишь по чужимъ впечатлѣніямъ. Онъ блестательно исполнилъ свою роль и хочетъ отдохнуть на игрѣ другихъ. Подобное настроеніе врядъ ли доступно человѣку, минутой раньше съ такой горячностью разрѣшившему мировые вопросы, врядъ ли доступно, при одномъ условіи, если самые вопросы хватаютъ его за сердце, тѣсно срослись съ его нравственной природой. И какъ естественнымъ является замѣчаніе—также авторское—о впечатлѣніи м-са Boncourt: Рудинъ «въ ея глазахъ быть чѣмъ-то въ родѣ виртуоза или артиста». Невольно спрашиваешь: «зачѣмъ авторъ счелъ необходимымъ сообщить намъ, что думаетъ объ его героѣ существо совершенно безличное и не играющее въ романѣ никакой роли?»

ГЛАВА IV.

XIII. *Madame Récamier*.—«Дарья Михайловна «одѣлась просто, но изящно, à la madame Récamier!»

Жанна Рекамье (1777—1849 г.) была душою одного изъ самыхъ извѣстныхъ парижскихъ салоновъ 30—40 гг. XIX вѣка. Она отли-

чалась необыкновенной красотою и о впечатлѣніи, которое она производила, говорить слѣдующій случай. Въ 1797 году, во времена директоріи, когда Наполеонъ Бонапартъ возвратился изъ Италии, въ честь его былъ устроенъ торжественный праздникъ въ залахъ Люксембургскаго дворца. Во время рѣчи одного изъ членовъ правительства, обращенной къ Бонапарту, присутствовавшая на торжествѣ Рекамье, чтобы лучше видѣть послѣдняго, приподнялась со своего мѣста,—и публика, забывъ о виновникѣ торжества, восхищенная красотою Рекамье, стала смотрѣть только на нее и даже вполголоса выражать свое удивление, чѣмъ вызвала недовольство Бонапарта. Въ ея салонѣ постоянными собесѣдниками были такія литературныя знаменитости, какъ Ламартинъ и Шатобріанъ. Съ послѣднимъ Рекамье была въ очень тѣсной дружбѣ, и, когда онъ умеръ, ея жизнь какъ будто изсякла: Рекамье пережила Шатобріана только однимъ годомъ.

Одною изъ отличительныхъ особенностей Рекамье была нелюбовь къ пышнымъ нарядамъ и дорогимъ украшеніямъ. Обычно она носила простое, но изящное бѣлое платье, и только на шеѣ у нея было ожерелье.

Ласунская, воображавшая себя такою же знаменитостью, какъ дѣятельницы извѣстныхъ французскихъ салоновъ, стремилась походить въ данномъ случаѣ на одну изъ наиболѣе знаменитыхъ въ Парижѣ салонныхъ дамъ.

XIV. *Canning—Канингъ.*—«Вошелъ дворецкій, человѣкъ высокаго роста, сѣдой и плѣшивый, въ черномъ фракѣ, бѣломъ галстукѣ и бѣломъ жилетѣ. — «Что ты? — спросила Дарья Михайловна и, слегка обратясь къ Рудину, прибавила вполголоса:— «n'est ce pas, comme il ressemble à Canning?»

Въ исторіи политической жизни Англіи извѣстно два Канинга: одинъ Джорджъ (ум. 1827 г.), другой—сынъ первого Чарльзъ Джонъ, современникъ героевъ романа «Рудинъ». Указывая на сходство дворецкаго съ однимъ изъ англійскихъ политическихъ дѣятелей, Ласунская подчеркиваетъ свое знаніе Европы.

ГЛАВА V.

XV. «Поззія—языкъ боговъ».—Называя поэзію языкомъ боговъ, Рудинъ повторяетъ идеи романтической эстетики. Романтики высоко ставили идеаль поэзіи и искусства вообще. Шеллингъ далъ этой идеализаціи искусства философское обоснованіе въ сочиненіи «Система транспондентальной философіи», проводя ту мысль, что художникъ творить, побуждаемый не какими-либо внѣшними причинами, а состояніемъ его собственной души. И изъ этой независимости искусства отъ внѣшнихъ причинъ и цѣлей вытекаетъ святость, божественность искусства.

XVI. *Самообличенія Рудина.*—«Онъ говорилъ прекрасно, горячо, убѣдительно—о позорѣ малодушія и лѣни, о необходимости дѣлать дѣло. Онъ осыпалъ самого себя упреками, доказывалъ,

что разсуждать напередъ о томъ, что хочешь сдѣлать, такъ же вредно, какъ накалывать булавкой наливающейся плодъ, что это только напрасная трата силъ и соковъ».

По поводу самообличеній Рудина говорить: «Рудинъ склоненъ суроно нападать на себя самого, но эти нападки такой же ораторскій турніръ, какъ и всѣ другія разсужденія краснорѣчиваго виртуоза. Для Рудина развѣничивать себя—не глубокая нравственная мука, а то же самонаслажденіе, какое и испытывалъ Печоринъ, рассказывая княжнѣ Мэри всевозможные, ужасы про себя и про свою жизнь. Это обычная уловка байронистующихъ комедіантовъ, — окружить себя мрачнымъ отчаяннымъ ореоломъ самоотрицанія, чтобы вызвать сочувствіе въ отзывчивомъ отуманенномъ сердцѣ женщины. Пріемъ, до тонкости извѣстный Печорину. Лермонтовскій герой, прочитавши предъ княжной Мэри «шпітафию» самому себѣ, замѣчаетъ: «Въ эту минуту я встрѣтился глаза: въ нихъ блестали слезы; рука ея, опираясь на мою, дрожала; щеки пылали, ей было жаль меня! Состраданіе—чувство, которому покоряются такъ легко всѣ женщины, впустило свои когти въ ея неопытное сердце». Тотъ же расчетъ у Рудина. Рудинъ не ошибается. Вы съ первого же появленія героя увѣрены: Наталья полюбить Рудина».

XVII. «О честности высокой говоритъ». — «Я увѣрена,—говорить Александра Павловна Лежневу,—что, кроме ума, у него (Рудина) и сердце должно быть отличное. Вы взгляните на его глаза, когда онъ... — «О честности высокой говорить»... — подхватилъ Лежневъ.

Со стороны Лежнева это не просто цитата подвернувшагося стиха изъ «Горе отъ ума» (IV, 4). Язвительный смыслъ этого стиха въ приложеніи къ Рудину становится яснымъ, если припомнить, что это говорить Репетиловъ объ Удушьевѣ Ипполитѣ Маркелычѣ:

Ночной разбойникъ, дуэлисть,
Въ Камчатку сосланъ быль, вернулся алеутомъ,
И крѣпко на руку нечистъ;
Да умный человѣкъ не можетъ быть не плутомъ;
Когда жъ о честности высокой говорить,
Какимъ-то демономъ внушаемъ:
Глаза въ крови, лицо горитъ,
Самъ плачетъ, а мы всѣ рыдаемъ.

XVIII. Синій чулокъ. — «Я встрѣтился съ Рудинымъ за границей. Тамъ къ нему одна барыня привязалась, изъ нашихъ русскихъ, синій чулокъ какой-то, ужъ не молодой и некрасивый, какъ оно и слѣдуетъ синему чулку».

«Синій чулокъ»—название, примѣнявшееся въ Россіи къ женщинамъ, желавшимъ казаться интересующимися исключительно вопросами науки и политики. Выраженіе это пошло изъ Англіи, гдѣ въ XVIII столѣтіи такъ назывались мужчины и женщины, презирающие карточную игру и признававшие только серьезные разговоры. Возникло оно потому, что главный поборникъ этого направления въ обществѣ Штиллингфлітъ носилъ синіе чулки.

ГЛАВА VI.

XIX. Прошло два мѣсяца.—Въ теченіе всего этого времени Рудинъ почти не выѣзжалъ отъ Дарьи Михайловны».

По этому поводу проф. Орестъ Миллеръ замѣчаетъ: «Въ пылу очарованія даже Басистову—студенту не приходить въ голову спросить: какъ это человѣкъ, пріѣхавшій случайно, съ чужими порученіями, засиживается на нѣсколько мѣсяцевъ и только и дѣлаетъ, что ораторствуетъ?»

XX. Отношеніе Рудина къ членамъ дома Ласунской.—«Басистовъ продолжалъ благоговѣть передъ Рудинымъ и ловить на-лету каждое его слово. Рудинъ мало обращалъ на него вниманія. Какъ-то разъ онъ провелъ съ пимъ пѣлое утро, толковаль съ нимъ о самыхъ важныхъ мировыхъ вопросахъ и задачахъ и возбудилъ въ немъ живѣйшій восторгъ; но потомъ онъ его бросилъ... Видно, онъ только на словахъ искалъ чистыхъ и преданныхъ душъ».—«Послѣ самой Дарьи Михайловны Рудинъ ни съ кѣмъ такъ часто и такъ долго не бесѣдовалъ, какъ съ Натальей».

Несмотря на полную опредѣленность словъ самого автора, что Рудинъ не искалъ «чистыхъ и преданныхъ душъ», т.-е. въ его отношеніяхъ къ своимъ слушателямъ не было ничего искренняго и идеяного, критики старались подыскать различныя объясненія отношенію Рудина къ Дарѣ Михайловнѣ и Басистову. Проф. О. Миллеръ говоритъ: «Рудинъ, очевидно, воображаетъ, что онъ дѣлаетъ дѣло: онъ привыкъ видѣть дѣло въ безплодномъ ораторствованіи, онъ успѣлъ уже на это убить значительную часть своей жизни. Онъ, очевидно, и изъ этой пустѣйшей Ласунской создаетъ себѣ, силой воображенія, такую почву, которая способна воспринимать обильное сѣмя его рѣчей, и такимъ образомъ разыгрывающееся воображеніе доставляетъ богатую пищу его самолюбію».

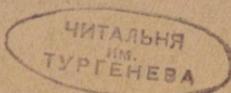
Предложеніе О. Миллера противорѣчитъ признанію самого Рудина, сдѣланному имъ въ этомъ при воспоминаніи о Ласунской: «Я зналъ въ душѣ, что изъ словъ моихъ ничего не выйдетъ».

По отношенію къ Басистову Рудину воображать ничего не приходилось, такъ какъ Басистовъ «ловилъ на-лету каждое его слово», отчего же Рудинъ «его бросилъ»?

Проф. Ивановъ разыясняетъ этотъ вопросъ иначе: «Артисту,—говорить онъ,—нужна самая впечатлительная и благодарная публика. А такая публика прежде всего женская,—Рудинъ ораторствуетъ, «вдохновленный близостью молодыхъ женщинъ», «увлеченный потокомъ собственныхъ ощущеній». Онъ часто бесѣдуетъ съ Натальей и удѣляетъ едва одно утро Басистову».

XXI. «Рудинъ, казалось, и не очень заботился о томъ, чтобы она (Наталья) его понимала—лишь бы слушала его».

Проф. Ивановъ объясняетъ это тѣмъ, что Рудинъ бесѣдуетъ съ Натальей «именно, какъ виртуозъ: ему важенъ эффектъ, а не идеяное вліяніе рѣчей».



XXII. «Фаустъ» Гёте.—А. И. Герценъ въ своихъ воспоминаніяхъ «Былое и думы», разсказывая про кружокъ московскихъ идеалистовъ 30-хъ годовъ, группировавшихся вокругъ Н. В. Станкевича, изображаемаго въ «Рудинъ» подъ именемъ Покорского, говоритъ объ отношеніи членовъ этого кружка къ «Фаусту» Гёте. Знаніе Гёте, особенно второй части Фауста (оттого ли, что она хуже первой, или оттого, что труднѣе ея), было столько же обязательно, какъ имѣть платье».

XXIII. Гофманъ.—Гофманъ—одинъ изъ виднѣйшихъ нѣмецкихъ романтиковъ конца XVIII и начала XIX вѣка. Отличительною чертою его творчества является тѣсное сплетеніе дѣйствительнаго и чудеснаго, производящее на читателя жуткое впечатлѣніе. Его произведенія: «Котъ-Мурръ», «Эликсиръ Сатаны», «Серафіоновы братья» и др. Фантастическое творчество Гофмана оказало вліяніе на нѣкоторыхъ русскихъ писателей. Его усматриваютъ въ творчествѣ Гоголя, периода «Вечеровъ на хуторѣ» и «Петербургскихъ повѣстей», въ произведеніяхъ Антона Погорѣльскаго (Перовскаго): «Двойникъ, или мои вечера въ Малороссіи», «Черная курица», въ произведеніи кн. В. О. Одевской «Русскія ночи» и даже въ сочиненіяхъ О. М. Достоевскаго начального периода его литературной дѣятельности (напр., въ «Двойникѣ»).

Московскіе идеалисты 30-хъ годовъ, увлекавшіеся философиєю Шеллинга, содержавшею цѣлое ученіе о духѣ художника, должны были особенно интересоваться Гофманомъ, какъ это показываютъ слѣдующія слова Герцена: «Хотите ли вы знать, что такое душа художника, насколько она отдѣлена отъ души обыкновенного человѣка, души съ запахомъ земли, души, въ которой запачкано божественное начало? Хотите ли взойти во внутренность ея, въ этотъ храмъ идеала, къ которому рвется художникъ и котораго никогда во всей чистотѣ не можетъ истортнуть изъ души своей? Хотите ли видѣть, какъ бурны его страсти, слѣдовать за нимъ? Читайте Гофмановы повѣсти: онъ вамъ представить самое полное развитіе жизни художника во всѣхъ фазахъ ея» («Знаменные современники. Гофманъ»).

XXIV. Письма Беттины.—«Переписка Гёте съ ребенкомъ», Беттины фонъ Арнимъ, вышедшая въ 1835 г., считается одною изъ лучшихъ книгъ нѣмецкой романтики. Беттина фонъ Арнимъ, будучи 22-лѣтнею дѣвушкою, влюбилась въ 60-лѣтняго Гёте и начала съ нимъ переписку, которую опубликовала подъ вышепринесеннымъ заглавиемъ.

Тургеневъ былъ лично знакомъ съ Беттиною, встрѣчаясь съ нею, въ бытность студентомъ Берлинскаго университета, въ русской семье Фроловыхъ.

XXV. Новалисъ.—Фридрихъ Гарденбергъ, известный подъ литературнымъ именемъ Новалиса,—одинъ изъ типичнейшихъ нѣмецкихъ романтиковъ XVIII вѣка. Наибольшою известностью пользуются его «Гимны ночи», полные грустныхъ чувствъ, вызванныхъ смертью четырнадцатилѣтней невѣсты автора, и неоконченный

романъ «Генрихъ фонъ Офтердингенъ», въ которомъ возводится въ апоѳеозъ поэтическая фантазія. Въ нѣмецкой романтической литературѣ Новалисъ—первый писатель, у которого сказалась поэтическая идеализація средневѣковья и особенно католицизма (въ статьѣ «Христіанство или Европа»); онъ былъ ненавистникъ лютеранства.

Германскай поэзіи

XXVI. *Германскай поэзіи*.—«Рудинъ былъ весь погруженъ въ германскую поэзію, въ германскій романтическій и философскій и увлекаль ее (Наталью) за собой въ тѣ заповѣдныя страны. Невѣдомыя, прекрасныя, раскрывались онъ передъ ея внимательнымъ взоромъ; со страницъ книги, которую Рудинъ держалъ въ рукахъ, дивные образы, новыя, свѣтлыя мысли такъ и лились звенищими струями ей въ душу и въ сердцѣ ея, потрясенному благодарной радостью великихъ ощущеній, тихо вспыхивала и разгоралась святая искра восторга...»

О сильномъ вліяніи нѣмецкой романтической литературы на идеалистически настроенную молодежь 30-хъ годовъ свидѣтельствуетъ П. В. Анненковъ: «Теперь (писано въ 1856—7 гг.) трудно и повѣрить, сколько обновляющихъ и исправительныхъ началь принесла нѣмецкая поэзія молодымъ людямъ 30-хъ годовъ, когда открылось у насъ дѣятельное сближеніе съ нею. Мечты юности были здѣсь воспитателями сердца и души, любой поэтическій образъ—нравственнымъ представленіемъ, вдохновенный афоризмъ—обязательнымъ правиломъ для жизни. Пламенный стихъ Шиллера я Гёте хранился какъ орудіе на борьбу съ своими и чужими эгоистическими страстями и передавался такъ другимъ. Поэма, романъ, трагедія и лирическое произведеніе служили кодексомъ для разумного устройства своего внутренняго міра. Безъ преувеличенія можно сказать въ отношеніи къ Станкевичу (см. дальше) и его кругу, что поэзія сдѣлалась учительницей ихъ, тѣмъ, чѣмъ она была съ первого появленія своего на свѣтѣ».

Таково было нравственное вліяніе нѣмецкой литературы. Не менѣе велико было также ея вліяніе на развитіе ума.—«Въ произведеніяхъ этой литературы,—продолжаетъ Анненковъ,—свободная фантазія пѣвца безпрестанно касается философскихъ положеній, часто даже и зарождается она въ области чистой мысли. Иногда также, по требованіямъ своей природы, она уступаетъ дорогу мысли и подъ конецъ въ ней пропадаетъ, какъ песчинка въ полномъ блескѣ солнца. Легко представить себѣ, какъ должны были дѣйствовать на молодой пытливый умъ безпрестанные намеки поэзіи, которую онъ изучалъ съ такою жадностью, и какъ пораженъ былъ онъ особынными родомъ величія, заимствованаго ею отъ непосредственного соучастія мысли...»

«Чѣмъ смѣлѣе выдавалась мысль изъ среды поэтическаго образа, тѣмъ напряженіе становились усилия отыскать ея полное значеніе и возвести до общаго положенія, которое могло бы сдѣлать ее независимою пояснительницею всѣхъ случаевъ жизни. Попытки эти обыкновенно выражались лирическимъ языкомъ, исполнен-

нымъ страстнаго увлеченія, и много было еще въ нихъ неопределеннаго, смутнаго и произвольнаго...»

«Еще многіе помнятъ ту почти непрерывную цѣль эстетическихъ потрясений, которая почерпалъ кругъ Станкевича ежесинь изъ свойствъ и сущности германскаго міросозерцанія, отраженного литературой народа. Общій характеръ, лежащий въ основаніи нѣмецкой поэзіи, постоянно держалъ людей этихъ среди одухотворенной, проясненной и возвеличенной имъ природы. Вместо одной скромной, студенческой жизни своей, они окружены были тысячью жизней, движениемъ, такъ сказать, многоразличныхъ существованій, кажущихся мертвыми и бездушными простому глазу».

XXVII. Взгляды Рудина на любовь. — Въ разговорѣ съ Натальей Рудинъ говорить: «Любовь! въ ней все тайна: какъ она приходитъ, какъ развивается, какъ исчезаетъ. То является она вдругъ, несомнѣнная, радостная какъ день, то долго тлѣеть, какъ огонь подъ золой, и пробивается пламенемъ въ душѣ, когда уже все разрушено; то вползаетъ она въ сердце какъ змѣя, то вдругъ выскользнетъ изъ него воинъ... Да, да, это вопросъ важный. Да и кто любить въ наше время, кто дерзнетъ любить?»

Эти слова Рудина о любви показываютъ, что онъ придастъ ей какой-то особенный, таинственный смыслъ. «Кто дерзнетъ любить?» спрашиваетъ Рудинъ, обнаруживая этимъ высокое, неземное пониманіе любви. Такъ, действительно, смотрѣли на любовь московские идеалисты 30-хъ годовъ. Взгляды на эту предметъ одного изъ нихъ — Н. В. Станкевича — П. Н. Милюковъ («Изъ истории русской интеллигентіи», 1902 г.) излагаетъ въ такомъ видѣ: «Любовь — это слово, кажется, чаще какого-либо другого упоминается въ письмахъ Станкевича до середины 30-хъ годовъ. Но далеко не всегда оно имѣетъ у него свой обыкновенный смыслъ. Любовь для Станкевича — это прежде всего міровая сила, давшая жизнь міру и всему, что въ немъ живо. Въ человѣкѣ любовь — это высшій и лучшій способъ чувствовать свое единство съ міромъ; въ то же время это и высшее проявление преимущества человѣка, какъ существа сознательного, надъ остальными частями мірозданія. Культивируя въ себѣ человѣческое, т.-е. то, что возвышаетъ человѣка надъ вселенной, мы исполняемъ высочайшую задачу, возложенную на насъ Провидѣніемъ. А это человѣческое заключается въ любви, дружбѣ и искусствѣ» (Статья: «Любовь у идеалистовъ тридцатыхъ годовъ»).

XXVIII. Печоринство въ характерѣ Рудина. — «Рудинъ прошелся по комнатѣ. — Замѣтили ли вы, — заговорилъ онъ, круто повернувшись на каблукахъ, — что на дубѣ — а дубъ крѣпкое дерево — старые листья только тогда отпадаютъ, когда молодые начнутъ пробиваться? — Да, — медленно возразилъ Наталья, — замѣтила. — Точно то же случается и со старой любовью въ сильномъ сердцѣ: она уже вымерла, но все еще держится; только другая, новая любовь можетъ ее выжить. — Наталья ничего не отвѣтила. «Что это значитъ?» подумала она. Рудинъ постоялъ, встряхнулъ волосами и удалился.

А Наталья пошла къ себѣ въ комнату. Долго сидѣла она въ недоумѣніи на своей кроваткѣ, долго размышиляла о послѣднихъ словахъ Рудина и вдругъ сжала руки и горько заплакала.

К. С. Аксаковъ въ письмѣ къ Тургеневу, говоря о Рудинѣ, обмолвился о Печоринѣ: «Лѣтъ десять тому назадъ,—писалъ онъ,—вы бы изобразили Рудина совершеннымъ героемъ. Нужна была зрѣльость созерцанія для того, чтобы видѣть пошлость рядомъ съ необыкновенностью, дрянность рядомъ съ достоинствомъ, какъ въ Рудинѣ. Вывести Рудина было очень трудно, и вы эту трудность побѣдили... Теперь вы Печорина, конечно, выставили бы не герояемъ».

Проф. Ивановъ подробно развиваетъ это сопоставленіе Рудина съ Печоринымъ по поводу разговора Тургеневскаго героя съ Натальею о старой любви.

«Аксаковъ бросилъ будто случайно намекъ на Печорина: на самомъ дѣлѣ, воспоминанія о печоринствѣ преслѣдуютъ насъ на каждой страницѣ рудинской исторіи.

«Припомните одинъ изъ многочисленныхъ разговоровъ Рудина съ Натальей—о любви. Рудинъ говоритъ особенно часто объ этомъ предметѣ, онъ намѣренъ даже писать трактатъ о трагическомъ значеніи любви. Почему именно о трагическомъ? Отнюдь не потому, что самъ авторъ испыталъ или вообще способенъ испытать любовную трагедію, а потому, что трагедія несравненно эффектнѣе, романтичнѣе, чѣмъ обыкновенная, общечеловѣческая психологія любви. Рудинъ немедленно создаетъ картииную иллюстрацію.

(Приводится выписанная выше сцена).

«Что значить эта притча—Наталья не понимаетъ. Но пониманія и не требуется Рудину. Ему необходимо ослѣпить воображеніе и захватить чувство,—и возможно больше театрального тумана.

«Конецъ сцены превосходенъ.

«Рудинъ постоялъ, встряхнулъ волосами, и удалился».

«Картина—прямо изъ оперного либретто. И картина весьма старая, но неотразимая для Татьянѣ, Марій, Наталій. Нужна тайна—и сердце дѣвушкѣ неизбѣжно запутается въ сѣтяхъ. Такъ ведетъ себя Онѣгинъ среди деревенскихъ мечтательницъ. Печоринъ съ княжной Мери, «принявъ глубоко тронутый видъ», разсказываетъ иносказательную исторію о томъ, какъ онъ отрѣзалъ одну мертвую половину своей души и бросилъ, «тогда какъ другая шевелилась»... Послѣдствія—всюду одинаковыя. Татьяна не спить ночей въ смутной мучительной тоскѣ, княжна Мери окончательно подавлена сладкимъ ужасомъ загорающейся страсти, Наталья «долго размышиляла о послѣднихъ словахъ Рудина и вдругъ сжала руки и горько заплакала».

«Въ основѣ столь могущественной таинственности лежитъ капля все того же яда—разочарованіе. Рудинъ щеголяетъ въ ста-ромъ плащѣ Россійскихъ чайльдъ-гарольдовъ. Нарядъ сильно потертъ, но Рудинъ успѣшно обновляетъ маскарадъ приемами, не-

известными его предшественникамъ. Тѣ черпали репертуаръ забытыхъ чувствъ и загадочныхъ рѣчей у Байрона и байронидовъ. Рудинъ пользуется германской философией и поэзией — совершенно противоположнаго духа, чѣмъ байронизмъ. Чайлдъ-Гарольды усиливались все отрицать и надо вѣмъ смыться: Рудинъ, напротивъ, зоветъ своихъ слушателей въ царство восторженной вѣры, вдохновенной мысли, всеобъемлющихъ идеаловъ. Но вѣдь нашъ блѣдный міръ такъ мало отвѣчаетъ поэтическимъ призыва姆ъ и идеальнымъ стремлениямъ. Краснорѣчивымъ гегельянцамъ далеко не всегда приходится встрѣчать радостно-трепетную публику въ родѣ Натальи и Басистова, рѣдко рѣчи ихъ льются среди молчанія роскошной ночи, подъ шубертовскую музыку,—и гегельянство, слѣдовательно, прямымъ путемъ можетъ привести къ тоскѣ и «холоду сердечному».

XXIX. Рудинъ—Тартюфъ. —«По-вашему, Рудинъ—Тартюфъ какой-то,—говоритъ Лишина Лежневу.—Въ томъ-то и дѣло, что онъ даже не Тартюфъ. Тартюфъ, тотъ, по крайней мѣрѣ, зналъ чего добивался,—отвѣчаетъ Лежневъ».

Тартюфъ, герой комедіи Мольера,—лицемѣръ на религіозно-нравственной почвѣ. Прикидываясь богомольнымъ, высоко-нравственнымъ и смиреннымъ человѣкомъ, Тартюфъ пріобрѣтаетъ довѣріе Оргона, поселяется въ его домѣ, распоряжается въ немъ, слѣдить за домашними, а самъ ухаживаетъ за женою Оргона и и, наконецъ, завладѣваетъ его домомъ; дѣлаетъ на Оргона клеветническій доносъ и при помощи судебныхъ властей пытается выселить своего покровителя изъ его собственного дома.

Лишина припоминаетъ Тартюфа, потому что Лежневъ раньше называлъ Рудина «актеромъ» и охарактеризовалъ его роль въ домѣ Ласунской такими словами: «Быть идоломъ, оракуломъ въ домѣ, вмѣшиваться въ распоряженія, въ семейныя сплетни и дрязги—неужели это достойно мужчины?»

XXX. Покорскій. — По поводу образа Покорскаго Тургеневъ говоритъ: «Когда я изображалъ Покорского, образъ Станкевича носился предо мною, но все это только блѣдный очеркъ» (*«Вѣстникъ Европы»*, 1899, январь).

Николай Владимировичъ Станкевичъ родился въ 1813 г. въ Воронежской губ. въ семье богатаго помѣщика. Учился въ Острогожскомъ уѣздномъ училищѣ, въ пансіонѣ въ Воронежѣ и Московскомъ университѣтѣ, гдѣ явился центромъ кружка идеалистически настроенной молодежи, между которой были такія лица, какъ Бѣлинскій и Конст. Аксаковъ. Болѣе всего въ это время Станкевича занимала философиya. Вспоминая свои университетскіе годы, Станкевичъ писалъ одному изъ близкихъ пріятелей, Невѣрову: «Въ старые годы я ставилъ единое благо въ философиѣ—такъ и должно было думать. То былъ возрастъ непреодолимой жажды къ знанію, возрастъ вѣры въ силы ума и возрастъ сомнѣній въ старыхъ шаткихъ вѣрованіяхъ. Надо было дать пищу душѣ, надобно было смирить междоусобie въ ея нѣдрахъ, надобно было запастись побужденіями къ дѣятель-

ности. Система смѣнялась системою, но кругъ знаній расширялся, и высокіе предметы изслѣдованія поставили душу выше благъ міра сего». Члены кружка при посредствѣ Станкевича пріобщались къ философскимъ интересамъ, что вліяло на ихъ образованіе и умственное развитіе; Бѣлинскій познакомился съ нѣмецкою философию почти только черезъ Станкевича. По окончаніи университета Станкевичъ нѣкоторое время готовится къ магистерскому экзамену по исторіи, но оставляетъ это и занимаетъ должность почетнаго смотрителя Острогожскаго уѣзднаго училища. Въ 1835 году Станкевичъ возвращается въ Москву, гдѣ продолжаетъ занятія философией; въ 1837 году уѣзжаетъ за границу, слушаетъ лекціи въ Берлинскомъ университѣтѣ, а въ 1840 году умираетъ въ Италіи отъ чахотки.

Значеніе Станкевича въ исторіи русской литературы и общественности основывается исключительно на умственномъ и моральномъ вліяніи, которое онъ имѣлъ на другихъ лицъ, явившихся крупными литературными дѣятелями.

Въ «Рудинѣ» Станкевичъ изображается историческими чертами.

Лежневъ разсказываетъ, что «Покорскій былъ на видъ тихъ и мягокъ... Человѣкъ онъ былъ нервический, нездоровий; зато, когда онъ расправлялъ свои крылья,—Боже! куда ни залеталъ онъ! въ самую глубь и лазурь неба!»

Анненковъ же говоритъ о Станкевичѣ, что онъ былъ человѣкъ «бѣлѣзиненный, тихій по характеру, поэтъ и мечтатель».

Характеризуя вліяніе Покорскаго, Лежневъ говоритъ, что ему «всѣ отдавались сами собой».

То же говоритъ Бѣлинскій о Станкевичѣ въ письмѣ къ Бакунину: «Станкевичъ никогда и ни на кого не налагалъ авторитета, а всегда и для всѣхъ былъ авторитетомъ, потому что всѣ добровольно и невольно сознавали превосходство его натуры надъ своею». О томъ же свидѣтельствуетъ Анненковъ: «Еще въ университетской аудиторіи онъ сталъ центромъ кружка товарищей, равныхъ ему по свѣдѣніямъ, но подчинившихся охотно (какъ способны только подчиняться люди въ молодые годы свои) вліянію свѣтлого ума, благороднаго сердца и строгихъ нравственныхъ требованій. Станкевичъ дѣйствовалъ обаятельно всѣмъ своимъ существомъ на сверстниковъ: это былъ живой идеалъ правды и чести, который въ раннюю пору жизни страстно и неутомимо ищется молодостью, живо чувствующею свое призваніе».

Лежневъ указываетъ на то, что нравственное вліяніе Покорскаго на нѣкоторыхъ впослѣдствіи было заглушено жизнью: «Эхъ! славное было время тогда, и не хочу я вѣрить, чтобы оно пропало даромъ! Да оно и не пропало,—не пропало даже для тѣхъ, которыхъ жизнь опошила потомъ... Сколько разъ мнѣ случалось встрѣтить такихъ людей, прежнихъ товарищѣ! Кажется, совсѣмъ звѣремъ стала человѣкъ, а стоитъ только произнести при немъ имя Покорскаго—и всѣ остатки благородства въ немъ зашевелятся, точно

ты въ грязной и темной комнатѣ раскупорилъ забытую стклянку съ духами...»

Точно такъ же и Анненковъ отмѣчаетъ, что образъ мыслей и духъ Станкевича не сказывались впослѣдствіи въ людяхъ, которые когда-то находились подъ его вліяніемъ: «Нельзя сказать,—говорить онъ,—чтобы все, прикасавшееся къ Станкевичу, оставалось навсегда подъ вліяніемъ его образа мыслей или было проникнуто духомъ его строгаго направленія: иные неспособны были вполнѣ усвоить примѣра его, у другихъ жизнь и нерадѣніе заглушили благодатныя зерна; но какъ тѣ, такъ и другіе, при жизни Станкевича, были нравственно подняты имъ и были, хоть на мгновеніе, выше себя».

Объясняючи причину вліянія Станкевича на окружающихъ, Тургеневъ пишетъ въ своихъ воспоминаніяхъ: «Станкевичъ оттого такъ дѣйствовалъ на другихъ, что самъ о себѣ не думалъ, истинно интересуясь каждымъ человѣкомъ, и, какъ бы самъ того не замѣчая, увлекалъ его вслѣдъ за собою въ область идеала. Фразы въ немъ слѣда не было. Невозможно передать словами, какое онъ внушалъ къ себѣ уваженіе, почти благоговѣніе».

Душевныя черты Покорского отражаютъ личность Станкевича, но вѣнчанія условія жизни послѣдняго были иные, чѣмъ у Покорского. Станкевичъ былъ богатый человѣкъ, Тургеневъ для усиленія художественного впечатлѣнія идеальной личности Покорского изображаетъ его бѣднякомъ.

Тургеневъ познакомился со Станкевичемъ въ Берлинѣ въ 1839 году и особенно сблизился съ нимъ во время совмѣстнаго пребыванія въ Римѣ въ 1840 году.

Смерть Станкевича вызвала глубоко-скорбное письмо Тургенева къ Т. Н. Грановскому: «Насъ постигло великое несчастье. Едва я могу собраться съ силами писать. Мы потеряли человѣка, котораго мы любили, въ кого мы вѣрили, кто былъ нашимъ гордостью и надеждою... Я оглядываюсь, ищу—напрасно. Кто изъ нашего поколѣнія можетъ замѣнить нашу потерю? Кто достойный приметъ отъ умершаго завѣщаніе его великихъ мыслей и не дастъ погибнуть его вліянію, будетъ ити по его дорогѣ, въ его духѣ, съ его силой?.. Отчего не умирать другому, тысячѣ другихъ, мнѣ, напр.? Когда же придется то время, что болѣе развитый духъ будетъ непремѣннымъ условіемъ высшаго развитія тѣла? Зачѣмъ на землѣ можетъ гибнуть и страдать прекрасное?.. Но нѣтъ, мы не должны унывать. Сойдемся, дадимъ другъ другу руки, станемъ тѣснѣ: одинъ изъ нашихъ упалъ, быть-можетъ, лучшій. Но возникаютъ другіе; рука Бога не перестаетъ съять въ души зародыши великихъ стремленій, и—рано ли, поздно ли—свѣтъ побѣдитъ тьму».

Такія свѣтлыя мысли внушала Тургеневу память о Станкевичѣ. Естественно, что, изображая настроеніе молодежи 30-хъ годовъ, онъ не могъ пройти мимо образа Станкевича и увѣковѣчилъ его въ лицѣ Покорского. Кроме того, нравственный обликъ Станкевича отразился въ «Яковѣ Пасынковѣ» Тургенева.—«Онъ говорилъ,—характеризуетъ авторъ своего героя,—вообще мало и съ замѣтнымъ

затрудненіемъ; но когда одушевлялся, рѣчь его лилась свободно и—странное дѣло!—голосъ его становился тише, взоръ его какъ будто уходилъ внутрь и погасалъ, а все лицо слабо разгоралось. Въ устахъ его слова: «добрь», «истина», «жизнь», «наука», «любовь», какъ бы восторженно они ни произносились, никогда не звучали ложнымъ звукомъ. Безъ напряженія, безъ усилия вступалъ онъ въ область идеала; его цѣломудренная душа во всякое время была готова предстать передъ «святыню красоты», она ждала только привѣта, прикосновенія другой души»...

Одинъ эпизодъ изъ воспоминаній Тургенева о Станкевичѣ воспроизведенъ имъ въ «Яковѣ Пасынковѣ». Однажды въ Римѣ, поднимаясь по лѣстницѣ въ четвертый этажъ, Станкевичъ началъ читать стихотвореніе Пушкина «Предчувствіе»:

Снова тучи надо мною
Собралися въ тишинѣ;
Рокъ завистливый бѣдою
Угрожаетъ снова мнѣ...

Но вдругъ онъ остановился, кашлянулъ и поднесъ платокъ къ губамъ—на немъ была кровь.—«Я невольно содрогнулся,—разсказываетъ Тургеневъ,—а онъ только улыбнулся и дочель стихотвореніе до конца». Эта способность забываться передъ поэтическимъ впечатлѣніемъ, съ реминисценціей того же стихотворенія, воспроизведена и въ «Яковѣ Пасынковѣ». Передъ смертью Яковъ Пасынковъ проситъ своего пріятеля почитать ему. Тотъ беретъ Лермонтова. «Пушкинъ выше, конечно,—говорить умирающій Пасынковъ»—Помнишь: «Снова тучи надо мною собралися въ тишинѣ...» или «Въ послѣдній разъ твой образъ милый дерзаю мысленно ласкать...» Ахъ, чудо! чудо!..»

Н. А. Добролюбовъ придаетъ такимъ личностямъ, какъ Станкевичъ, абсолютное значеніе, безотносительно къ тому, проявила ли данная личность какую-либо дѣятельность или нѣть. Когда въ 1857 году вышла книга П. В. Анненкова о Станкевичѣ, содержавшая его біографію и переписку, въ «Бібліотекѣ для Чтенія» (редакціи А. В. Дружинина) появилась статья о книгѣ, въ которой авторъ, соглашаясь, что Станкевичъ былъ «чрезвычайно замѣчательною» личностью, ставилъ, однако, вопросъ: имѣть ли онъ «право на имя нравственного и общественного дѣятеля въ той степени, которая можетъ придать человѣку значеніе?» Н. А. Добролюбовъ доказываетъ, что Станкевичъ уже потому имѣетъ право на историческое вниманіе, что онъ имѣлъ сильное вліяніе на Бѣлинскаго, Грановскаго и Кольцова, но, помимо того, личность Станкевича имѣеть общественное значеніе безъ отношенія къ кому-либо другому.

«У насъ, говорить Добролюбовъ, еще недостаточно развито уваженіе къ нравственному достоинству отдѣльныхъ личностей; у насъ еще нерѣдко можно слышать такое разсужденіе: «онъ мнѣ ничего худого не сдѣлалъ: могу ли я назвать его негодяемъ?» Или такое: «что мнѣ уважать его? мнѣ отъ него ни тепло, ни холодно!»

Понятно, что люди съ такими понятіями и удивлены, и раздражены тѣмъ, что имъ смѣютъ говорить объ общественномъ значеніи человѣка, который не только пирамиды не выстроилъ, Америку не открылъ, пороху не выдумалъ, но даже ни одного благотворительного бала не сдѣлалъ, даже ни одной толстой книги не сочинилъ. Преувеличеннія похвалы Станкевичу намъ самимъ кажутся излишними и несправедливыми; сравнивать его съ Сократомъ, идеи которого разнесены по свѣту нѣсколькими Платонами, намъ никогда не приходило въ голову. Но, съ другой стороны, мы считаемъ крайне несправедливымъ и то отрицаніе, съ которымъ многие относятся къ этой прекрасной, возвышенной личности. Кто признаетъ права личности и принимаетъ важность естественнааго, живого, свободнаго ея развитія, тотъ пойметъ и значеніе Станкевича какъ въ самомъ себѣ, такъ и для общества».

XXXI. Философскія идеи круэжка Покорскаго.—«Нашъ кругожокъ,—рассказываетъ Лежневъ,—состоялъ, говоря по совѣсти, изъ мальчиковъ—и недоученныхъ мальчиковъ. Философія, искусство, наука, самая жизнь—все это для насъ были одни слова, пожалуй, даже понятія, заманчивыя, прекрасныя, но разбросанныя, разъединенные. Общей связи этихъ понятій, общаго закона мы не сознавали, не осознали, хотя смутно толковали о немъ, силились отдать себѣ въ немъ отчетъ... Слушая Рудина, намъ впервые показалось, что мы, наконецъ, схватили ее, эту общую связь, что поднялась наконецъ завѣса! Положимъ, онъ говорилъ не свое—что за дѣло, но стройный порядокъ водворился во всемъ, что мы знали, все разбросанное вдругъ соединялось, складывалось, вырастало передъ нами, точно зданіе, все свѣтлѣло, духъ вѣяль всюду... Ничего не оставалось безсмысленнымъ, случайнымъ; во всемъ высказывалась разумная необходимость и красота, все получало значеніе ясное и, въ то же время, таинственное; каждое отдѣльное явленіе жизни звучало аккордомъ, и мы сами, съ какимъ-то священнымъ ужасомъ благоговѣнія, съ сладкимъ сердечнымъ трепетомъ чувствовали себя какъ бы живыми сосудами вѣчной истины, орудіями ея, привѣнными къ чему-то великому...»

Московскіе идеалисты 30-хъ годовъ находились подъ вліяніемъ философскихъ системъ двухъ германскихъ профессоровъ—Фридриха Шеллинга (1775—1854) и Георга Гегеля (1770—1831); оба преподавали философію въ Іенѣ.

Ученіе Шеллинга носитъ название натуръ-философіи, потому что оно стремится дать философское объясненіе жизни природы, при чемъ идеи Шеллинга отмѣчены эстетическими интересами. Въ общемъ, онъ сводятся къ слѣдующему. Въ природѣ нѣть раздѣленія на духъ и матерію. Все существующее есть развитіе единой силы, которую Шеллингъ опредѣляетъ, какъ абсолютное тождество. Такимъ образомъ, вся природа едина въ своей основѣ. Она постоянно пребываетъ въ процессѣ внутренняго творчества, саморазвитія. Наивысшей ступенью этого развитія въ природѣ является человѣкъ, потому что въ человѣкѣ наиболѣе всего выражена творя-

щая сила, и въ его лицѣ природа достигаетъ сознанія. Но болѣе всего творческая сила, которою обладаетъ человѣкъ, проявляется въ художникѣ-поэзѣ, который какъ бы въ миниатюрѣ повторяетъ творческую дѣятельность природы. Поэтому, изучая художественное творчество, мы вмѣстѣ съ тѣмъ постигаемъ творческія тайны природы. Отсюда возвышенный взглядъ Шеллинга на поэта.

Гегель такъ же, какъ и Шеллингъ, признавалъ только одно абсолютное начало въ мірѣ. Это—идея, міровой Разумъ, который осуществляется какъ во всей природѣ, такъ и въ человѣкѣ. Въ природѣ, однако, міровой Разумъ, Духъ не достигаетъ полнаго развитія,—природа только ступень къ дальнѣйшему развитію Разума. Сущности своей міровой Духъ достигаетъ лишь въ человѣкѣ, но не въ отдѣльной геніальной личности—художникѣ, поэтѣ,—какъ училъ Шеллингъ, а въ объективныхъ проявленіяхъ жизни человѣчества во всей его совокупности, сказываясь въ области права и государства, искусства, религіи и нравственности. Жизнь человѣчества, проявляющаяся въ указанныхъ формахъ, представляеть высшую ступень развитія абсолютного Разума.

Въ томъ, что передаетъ Лежнеѣъ обѣ идеяхъ, занимавшихъ кружокъ Покорского, нельзя усмотрѣть вліянія какой-либо одной изъ указанныхъ философскихъ системъ. Слова Лежнева обладаютъ настолько общимъ характеромъ, что въ ихъ содержаніе свободно укладываются и мысли Шеллинга и ученіе Гегеля, такъ какъ и тотъ и другой одинаково вносили стройность въ міросозерцаніе и наполняли вѣяніемъ духа вселенную.

Неотразимое впечатлѣніе, какое производила философія на членовъ кружка Покорского, вполнѣ передаетъ то настроеніе, которое въ дѣйствительности внушало знакомство съ нѣмецкою философіей русскимъ идеалистамъ 30-хъ годовъ. Обѣ этомъ свидѣтельствуетъ Анненковъ: «Какимъ-то торжествомъ, свѣтлымъ, радостнымъ чувствомъ исполнилась жизнь, когда указана была возможность объяснить явленія природы тѣми же самыми законами, какими подчиняется духъ человѣческій въ своемъ развитіи, закрыть, повидимому, навсегда пропасть, раздѣляющую два міра, и сдѣлать изъ нихъ единый сосудъ для вмѣщенія вѣчной идеи, вѣчнаго разума. Съ какой юношеской и благородной гордостью понималась тогда часть, предоставленная человѣку въ этой всемірной жизни! По свойству и праву мышленія, онъ переносилъ видимую природу въ самого себя, разбиралъ ее въ нѣдрахъ собственнаго сознанія,—словомъ, становился ея центромъ, судьею и объяснителемъ. Природа была поглощена имъ и въ немъ же воскресала для новаго, разумнаго и одухотвореннаго существованія. Какъ удовлетворялось высокое нравственное чувство со знаніемъ, что право на такую роль во вселенной не давалось человѣку по наслѣдству, какъ имѣніе, утвержденное давнимъ владѣніемъ! Чѣмъ свѣтлѣе отражался въ немъ самъ вѣчный духъ, всеобщая идея, тѣмъ полноѣ понималъ онъ ея присутствіе во всѣхъ другихъ сферахъ жизни. На концѣ всего возврѣнія стояли нравственные обязанно-

сти, и одна изъ необходимѣйшихъ обязанностей—высвобождать въ себѣ самомъ божественную часть міровой идеи отъ всего случайного, нечистаго и ложнаго, для того, чтобы имѣть право на блаженство дѣйствительного разумнаго существованія».

Увлеченіе философскими системами доходило, однако, у московскихъ идеалистовъ до крайности.—«Молодые философы,—говорить А. И. Герценъ,—испортили себѣ пониманіе; отношеніе къ жизни, къ дѣйствительности сдѣлалось школьнное, книжное; это было то ученое пониманіе простыхъ вещей, надъ которымъ такъ гениально смѣялся Гёте въ своемъ разговорѣ Мефистофеля со студентомъ. Все въ самомъ дѣлѣ непосредственное, всякое простое чувство было возводимо въ отвлеченныя категории и возвращалось оттуда безъ капли живой крови, алгебраической тѣнью. Во всемъ этомъ была своего рода наивность, потому что все это было совершенно искренно. Человѣкъ, который шелъ гулять въ Сокольники, шелъ для того, чтобы отдаваться пантеистическому чувству своего единства съ космосомъ, и если ему попадался по дорогѣ какой-нибудь солдатъ подъ хмелькомъ или баба, вступавшая въ разговоръ, философъ не просто говорилъ съ ними, но опредѣлялъ субстанцію народную въ ея непосредственномъ и случайномъ явленіи. Самая слеза, навертывавшаяся на вѣкахъ, была строго отнесена къ своему порядку, къ «гемиоту» или къ трагическому въ сердцѣ».

Насмѣшку надъ такимъ книжнымъ отношеніемъ къ самымъ простымъ явленіямъ находимъ также въ романѣ «Рудинъ». Пигасовъ разсказываетъ о геройѣ произведенія (XII глава): «Безпрерывно развиваясь (эти господа все развиваются: другое, напримѣръ, просто спать или Ѳдятъ,—а они находятся въ моментѣ развитія сна или Ѳды...). Итакъ, развиваясь постоянно, Рудинъ дошелъ, путемъ философіи, до того умозаключенія, что ему должно влюбиться».

Философскіе интересы кружка Станкевича не остались безъ вліянія на дѣятельность тѣхъ его членовъ, которые вышли на литературную дорогу. Такъ, идеи Шеллинга и Гегеля нашли широкое отраженіе въ статьяхъ В. Г. Бѣлинскаго первой половины его литературной дѣятельности. Мысли о стройности мірозданія и о высокомъ нравственномъ назначеніи человѣка находимъ въ первой статьѣ Бѣлинскаго «Литературный мечтанія», написанной подъ непосредственнымъ впечатлѣніемъ взглядовъ Шеллинга на природу, какъ на проявленіе одного начала, на человѣка, какъ сознательную ступень развитія этого единаго начала, и на поэзію, какъ на повтореніе творческаго процесса природы.

«Весь безпредѣльный прекрасный Божій міръ,—говорить Бѣлинскій,—есть не что иное, какъ дыханіе единой вѣчной идеи (мысли единаго, вѣчнаго Бога), проявляющейся въ безчисленныхъ формахъ, какъ великое зрѣлище абсолютнаго единства въ безконечномъ разнообразіи. Только пламенное чувство смертнаго можетъ постигать въ свои свѣтлыя мгновенія, какъ велико тѣло этой души вселенной, сердце котораго составляютъ громадныя солнца, жилы—

пути млечные, а кровь—чистый эфиръ. Для этой идеи нѣть покоя: она живетъ безпрестанно, то-есть безпрестанно творить, чтобы разрушать, и разрушаетъ, чтобы творить. Она воплощается въ блестящее солнце, въ великолѣпную планету, въ блудящую комету; она живетъ и дышитъ—и въ бурныхъ приливахъ и отливахъ морей, и въ свирѣпомъ ураганѣ пустынъ, и въ шелестѣ листьевъ, и въ журчаны ручья, и въ рыканіи льва, и въ слезѣ младенца, и въ улыбкѣ красоты, и въ волѣ человѣка и въ стройныхъ созданіяхъ генія... Кружится колесо времени съ быстротой непостижимой, въ безбрежныхъ равнинахъ неба потухаютъ свѣтила, какъ истощившіеся вулканы, и зажигаются новыя; на землѣ проходятъ роды и поколѣнія и замѣняются новыми, смерть истребляетъ жизнь, жизнь уничтожаетъ смерть, силы природы борются, враждуютъ и умираютъ силами посредствующими, и гармонія царствуетъ въ этомъ вѣчномъ броженіи, въ этой борьбѣ началъ и вѣществъ. Такъ—идея живетъ: мы ясно видимъ это нашими слабыми глазами. Она мудра, ибо все предвидѣть, все держитъ въ равновѣсіи; за наводненіемъ и за лавой ниспосыпаетъ плодородіе, за опустошительной грозой—чистоту и свѣжесть воздуха, въ пустыняхъ песчаной Аравіи и Африки поселила верблюда и страуса, въ пустыняхъ ледяного Сѣвера поселила оленя. Вотъ ея мудрость, вотъ ея жизнь физическая: гдѣ же ея любовь? Богъ создалъ человѣка и далъ ему умъ и чувство, да постигаетъ эту идею своимъ умомъ и знаніемъ, да пріобщается къ ея жизни въ живомъ и горячемъ сочувствіи, да раздѣляется ея жизнь въ чувствѣ безконечной зиждущей любви! Итакъ, она не только мудра, но и любяща! Гордись, гордись, человѣкъ, своимъ высокимъ назначениемъ; но не забывай, что божественная идея, тебя родившая, справедлива и правосудна, что она дала тебѣ умъ и волю, которые ставятъ тебя выше всего творенія, что она въ тебѣ живетъ...»

Объ искусствѣ Бѣлинскій пишеть: «Какое назначеніе и какая ідѣя искусства?.. Изображать, воспроизводить въ словѣ, звукѣ, въ чертахъ и краскахъ идею всеобщей жизни природы: вотъ единая и вѣчная тема искусства! Поэтическое одушевленіе есть отблескъ творящей силы природы...»

Подъ вліяніемъ же философскихъ взглядовъ Гегеля Бѣлинскій написаль двѣ статьи: «Очерки Бородинского сраженія. Ф. Глинки» и «Менцель, критикъ Гёте», о которыхъ можно сказать словами Погодина, относящимися къ К. С. Аксакову: «Гегель подпустилъ дымку въ смыслѣ».

Философскія идеи кружка Станкевича отразилась также въ поэзіи А. В. Кольцова, который хорошо былъ знакомъ со Станкевичемъ и бывалъ въ его кружкѣ. Такъ, въ думѣ «Поэтъ» Кольцовъ повторяетъ идеи Шеллинга объ искусствѣ:

Властелинъ-художникъ
Создаетъ картину—
Великую драму,
Исторію царства.

Въ нихъ духъ вѣчной жизни
Самъ себя сознавши,
Въ видахъ безконечныхъ
Себя проявляеть...

XXXII. Участники кружка Покорского.—«Взъерошенный поэть Субботинъ издается, по временамъ и какъ бы во снѣ, отрывистыя восклицанія; сорокалѣтній бурштъ, сынъ нѣмецкаго пастора, Шеллеръ, прослывшій между нами за глубочайшаго мыслителя, по милости своего вѣчнаго, ничѣмъ ненарушимаго молчанья, какъ-то особенно торжественно безмолвствуетъ; самъ веселый Щитовъ, Аристофанъ нашихъ сходокъ, утихаєтъ и только ухмыляется».

Н. Л. Бродскій въ монографіи «Поэты кружка Станкевича» доказываетъ, что въ лицѣ «взъерошенного поэта» Субботина, кото-раго раньше Лежневъ называетъ «полусумасшедшімъ и милѣй-шимъ поэтомъ кружка», изобразилъ одного изъ участниковъ кружка Станкевича—Василія Ивановича Красова.

«Даже среди друзей,—характеризуетъ его Н. Л. Бродскій,—восторженныхъ, экзальтированныхъ, чрезмѣрно богатыхъ чувствами, В. И. Красовъ занималъ исключительное мѣсто, какъ истый романтикъ, всегда горящій воодушевленіемъ, восторгомъ... Если для Бѣлинскаго, Герцена и другихъ людей того поколѣнія «алый свѣтъ юности постепенно замѣнился сѣвернымъ, яснымъ солнцемъ реальнаго пониманія», Красовъ долго продолжалъ жить въ мірѣ фантазіи, окружать жизнь «нимбомъ», вѣрить въ ея «чудныя сказки». Мечтатель, онъ всюду видѣлъ прекрасное, таинственное, чудесное. Въ каждомъ переулкѣ, гдѣ поселялся, встрѣчалъ чудныя существа и необычайныя происшествія, о которыхъ потомъ и разсказывалъ, прикрашивая и преувеличивая до фантастичнаго. Съ своими «на-ходками» объяснялся чрезвычайно восторженно, и одна изъ тѣхъ глубокихъ натуръ, которая все понимаютъ, послѣ поэтическаго монолога Красова, съ недоумѣніемъ спрашивала Станкевича, почему нельзя понять ни одного слова въ разговорѣ его друга? Душевная воспламеняемость его была изумительна. Какъ-то Станкевича, занимавшагося дома съ Красовымъ, позвали по одному дѣлу въ правленіе университета. Станкевичъ тотчасъ одѣлся и отправился. На полдорогъ онъ слышитъ, что кто-то поспѣшно его дого-няетъ. Онъ оборачивается и видитъ Красова въ полномъ студенче-скомъ мундирѣ, со шшагою. «Ты куда?» спрашиваетъ его Станкевичъ.—«За тобою, за тобою,—отвѣчаетъ Красовъ со слезами на гла-захъ.—Я буду защищать тебя до послѣдней капли крови». Станкевичъ съ трудомъ вразумилъ его, что никакой опасности не предви-дится... И такъ всегда было: Красовъ во всемъ готовъ былъ видѣть необычайное».

Красовъ родился въ 1810 году въ Кадниково, Вологодской губ., гдѣ отецъ его былъ соборнымъ протоиереемъ; по окончаніи Воло-годской семинаріи учился въ Московскомъ университете, который окончилъ въ 1835 г. Былъ преподавателемъ Черниговской гимназии, по рекомендациіи проф. М. П. Погодина, адъюнктомъ по каѳедрѣ

русской словесности въ университетѣ св. Владимира. Проф. Дашкевичъ такъ характеризуетъ университетское преподаваніе Красова: онъ «былъ даровитая поэтическая натура, но никакъ не профессоръ. Чтобы быть хорошимъ профессоромъ и ученымъ, ему не доставало ни свѣдѣній, ни терпѣнія къ пріобрѣтенію ихъ. Читаль онъ, подъ вліяніемъ минуты, съ необыкновеннымъ жаромъ, но безъ обдуманнаго плана и предварительного приготовленія. Сверхъ того, у него была способность видѣть въ утрированномъ поэтическомъ свѣтѣ самыя обыкновенныя вещи. Впрочемъ, къ чести Красова должно сказать, что восторженность его была неподдельная, и жарь, съ которымъ онъ читалъ лекціи, истекалъ прямо изъ свойствъ его поэтической личности». Въ 1838 году Красовъ защищалъ диссертацию «о главныхъ направленихъ въ англійской и нѣмецкой литературѣ съ конца XVIII вѣка», но на диспутѣ обнаружилъ, по мнѣнію факультета, «неопредѣлительныя мысли» и не былъ удостоенъ степени доктора. Поэтому Красовъ оставилъ университетъ и пѣшкомъ, вслѣдствіе отсутствія денегъ, отправился въ Москву, питаюсь по дорогѣ хлѣбомъ. Матеріальное его положеніе было настолько плохо, что пріятели собирали между собою деньги для него. Но бѣдность не измѣнила его романтическаго настроенія. Грановскій писалъ объ этомъ Станкевичу: Красовъ «все тотъ же: зажмуритъ глаза и читаетъ стихи». Большой чахоткою, онъ умеръ въ бѣдности въ 1854 году. Данная Красову въ романѣ фамилія—Субботинъ, можетъ-быть, представляетъ намекъ на его духовное происхожденіе.

Въ лицѣ «сорокалѣтняго бурша» Шеллера, какъ можно догадываться, скрывается другой участникъ кружка Станкевича, другъ Герцена и Огарева, Николай Христофоровичъ Кетчеръ (1809—1886), шведъ по происхожденію. Кетчеръ окончилъ Медико-Хирургическую академію и служилъ въ Москвѣ. Въ русской литературѣ онъ извѣстенъ, какъ переводчикъ Шекспира, Гофмана и Шиллера. На Кетчера, какъ переводчика Шекспира, Тургеневъ написалъ эпиграмму:

Вотъ еще свѣтило міра—
Кетчеръ, другъ шипучихъ винъ;
Переперь онъ намъ Шекспира
На языкъ родныхъ осинъ!

По поводу же переводовъ Кетчера изъ Шиллера, Н. А. Полевой острѣль: «Штабъ-лѣкарь Кетчеръ—переводчикъ штабъ-лѣкаря Шиллера». Характеристику Кетчера даетъ А. В. Станкевичъ въ брошюре: «Н. Х. Кетчеръ. Воспоминанія А. В. Станкевича. 1887 г.». Авторъ воспоминаній характеризуетъ Кетчера близко къ тому, что говорить о Шеллерѣ Лежневѣ: «Кетчеръ былъ человѣкъ значительного ума, болѣе сильного и яснаго, чѣмъ гибкаго и тонкаго. Его мнѣнія и сужденія были, большою частію, похожи на короткіе категорические приговоры, въ оправданіе и объясненіе которыхъ онъ не любилъ и не умѣлъ пускаться... Свое признаніе, свое согласіе и сочувствие высказывалъ Кетчеръ немногими словами, громкими одобре-

ніемъ, крѣпкимъ пожатіемъ руки того, съ кѣмъ соглашался, иногда только радостно озарившимъ лицомъ и улыбкой... Образъ жизни Кетчера, его обстановка и вкусы были своеобразны. Долго жилъ онъ одинокій и бездомный по неудобнымъ московскимъ квартирамъ, какъ живутъ *старые бури*. Никакихъ привычекъ и потребностей удобствъ для него не существовало. Въ строгомъ порядкѣ содержались въ его жилищѣ только рабочій столъ и чернильница. Ни за работой, ни за ъдой не выпускалъ онъ изо рта трубки или плохой дешевой сигары, въ дыму которыхъ еще фантастичнѣе представлялась его фигура, насупленные брови, толстые губы и цѣлая шапка косматыхъ, густыхъ и всклокоченныхъ волосъ».

А. И. Герценъ, вспоминая Кетчера, которому онъ посвятилъ цѣлый очеркъ, говорить о немъ, что, когда «ему было лѣтъ подъ сорокъ, онъ рѣшительно остался *старымъ студентомъ*».

Кто такой «веселый Щитовъ, Аристофанъ сходокъ», это разъясняетъ Н. Л. Бродскій въ указанной выше монографіи. Щитовъ—поэтъ Иванъ Петровичъ Клюшниковъ (1811—1895), о которомъ часто въ своей перепискѣ упоминаетъ Станкевичъ, изучавшій вмѣстѣ съ нимъ Канта и Шеллинга. Клюшниковъ обладалъ бойкимъ остроуміемъ, слѣды которого остались въ его эпиграммахъ. Остроуміе его было настолько привычно для московской литературной среды, что, когда появился памфлетъ Бѣлинского «Педантъ», остроумно высмѣявавшій проф. С. И. Шевырева, Боткинъ приписалъ его Клюшникову. Анненковъ называетъ Клюшникова Мефистофелемъ московского кружка, такъ какъ онъ осмѣивалъ крайнія идеалистическая увлеченія его участниковъ. Свои стихотворенія Клюшниковъ подписывалъ греческою буквою Θ (эита); съ производною отсюда фамиліей Онтовъ можно сблизить фамилію Щитовъ.

XXXIII. *Рудинъ—Бакунинъ*.—Если даже упоминаемыя мелькомъ лица романа могутъ быть объяснены исторически, въ смыслѣ соотвѣтствія чертъ ихъ характеровъ опредѣленными, существовавшими въ дѣйствительности личностямъ, то, конечно, и главное лицо романа—Рудинъ—не представляетъ всецѣло продукта творческой фантазіи Тургенева. «Въ основу Рудина,—вспоминаетъ одинъ авторъ слова Тургенева,—положенъ Бакунинъ. Я его хорошо зналъ и прожилъ съ нимъ, будучи студентомъ въ Берлинѣ, цѣлый годъ въ одной комнатѣ». (Воспоминанія А. Половцева, «Царь-Колоколь» на 1887 г.). Еще болѣе достовѣрное свидѣтельство этому находимъ въ собственномъ письмѣ Тургенева отъ 1862 года 28 сентября къ малорусской писательницѣ М. А. Марковичъ (Марко-Вовчокъ): «Что за человѣкъ Бакунинъ, спрашиваете вы? Я въ Рудинѣ представилъ довольно вѣрный его портретъ: теперь это—Рудинъ, не убитый на баррикадѣ».

Бакунинъ имѣлъ сильное вліяніе на кружокъ Станкевича. Послѣдній, вспоминаетъ Анненковъ, «суетливо отыскивалъ книги философскаго содержанія, старался учредить порядокъ въ чтеніи и обращался за совѣтами къ опытнымъ людямъ, знакомымъ съ историческимъ ходомъ германского мышленія. Когда

въ 1835 году вошелъ въ этотъ кругъ человѣкъ, надѣленный въ высшей степени способностями къ философскимъ занятіямъ, то стремлениѣ это получило еще большее развитіе». Этотъ человѣкъ былъ Бакунинъ.

Жизнь Михаила Александровича Бакунина была богата событиями. Родился онъ въ 1814 году въ Тверской губерніи, гдѣ отецъ его былъ предводителемъ дворянства. Въ 1832 г. Бакунинъ окончилъ артиллерійское училище и два года служилъ офицеромъ. По выходѣ въ отставку поступилъ въ Московскій университетъ, гдѣ примкнулъ къ кружку Станкевича. Въ 1840 г. уѣзжаетъ въ Германію, гдѣ сближается съ нѣмецкими соціалистами. Во Франціи близко знакомится съ извѣстными французскими писателями Прудономъ и Жоржъ-Зандъ и вступаетъ въ сношенія съ національными мастерскими; примыкаетъ къ польскимъ эмігрантскимъ комитетамъ, способствуя возбужденію революціоннаго движенія въ Польшѣ. Въ 1847 году, по распоряженію министра Гизо, Бакунинъ высылается изъ Парижа, но въ слѣдующемъ году возвращается туда и примыкаетъ къ революції 1848 года; но такъ какъ Бакунинъ не имѣлъ никакой выдержки и мѣшалъ временному правительству, то и оно его выслало изъ Парижа. Затѣмъ Бакунинъ принимаетъ участіе въ восстаніи чеховъ, сражается на баррикадахъ въ Дрезденѣ и въ 1849 году попадаетъ въ руки саксонскаго правительства, которое приговариваетъ его къ смертной казни, но впослѣдствіи выдаетъ австрійскому правительству; послѣднее же передаетъ Бакунина русской власти. Въ 1857 году онъ былъ сосланъ въ Восточную Сибирь, откуда бѣжалъ черезъ шесть лѣтъ. Въ 1862 году участвуетъ въ журналѣ Герцена «Колоколь». Не останавливаясь на одномъ мѣстѣ, агитируетъ, возбуждая революціонныя настроенія, въ Швеціи, Италии и Испаніи и въ 1869 году основываетъ «Всемірный союзъ соціалистической демократіи». Въ 1876 году въ Бернѣ Бакунинъ уморилъ себя голодомъ.

Лица, близко знавшія Бакунина, даютъ ему характеристику, которую легко сблизить съ нѣкоторыми чертами Рудина.

Анненковъ говорить объ ораторскомъ таланѣ Бакунина, указывая на его « страсть къ витійству», «врожденную изворотливость мысли», «пышную, всегда какъ-то праздничную по своей формѣ, шумную, хотя и нѣсколько холодную, малообразную и искусственную рѣчъ ». Съ характеристикой, данной Тургеневымъ краснорѣчію Рудина, это не совпадаетъ въ существенномъ отношеніи—рѣчъ Рудина была, наоборотъ, многогранна: «Образы смѣнялись образами; сравненія, то неожиданно смѣляя, то поразительно вѣрныя, возникали за сравненіями».

Бѣлинскій такъ охарактеризовалъ Бакунина: «Дикая мощь, беспокойное, тревожное и глубокое движеніе духа, безпрестанное стремлениѣ въдаль, безъ удовлетворенія настоящимъ... порываніе къ общему отъ частныхъ явленій»...

Такая черта, какъ «дикая мощь», опять не подходитъ къ характеру Рудина.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, слова: «глубокое движение духа», противорѣчать тому, что, по словамъ Анненкова, тотъ же Бѣлинскій сказалъ о Бакунинѣ: «это—пророкъ и громовержецъ, но съ румянцемъ на щекахъ и безъ пыла въ организмѣ». Это ближе къ тому, что Лежневъ говорить о Рудинѣ, который, по его словамъ, «холоденъ, какъ ледь, и знаетъ это, и прикидывается пламеннымъ».

Болѣе всего напоминаетъ Рудина характеристика, которую даетъ Бакунину Т. П. Пассектъ: «Личность Бакунина была странна и замѣчательна. Умный, начитанный, обладающій даромъ слова, проникнутый нѣмецкою философіею, онъ иногда былъ малодушенъ какъ ребенокъ, которому хочется какого-либо дѣла: если печатать, то прокламаціи; если дѣйствовать, то все вездѣ поставить вверхъ дномъ; ничего не щадить, никогда не задаваться мыслью, что изъ этого можетъ выйти—итти напроломъ».

Къ послѣднимъ словамъ можно припомнить признанія Рудина. Говоря о своей жизни у «одного довольно странного господина», богатаго помѣщика, Рудинъ разсказываетъ Лежневу: «Планы, братъ, у меня были громадные»; когда же онъ поступилъ на учительскую службу въ гимназію, то «хотѣлъ коренныхъ преобразованій».

Академикъ Д. Н. Овсяннико-Куликовскій говоритъ объ отношеніи типа Рудина къ историческому Бакунину: «За вычетомъ ума и дialectики, а также, можетъ-быть, и нѣкоторыхъ чертъ характера, которыми Рудинъ отчасти напоминаетъ Бакунина, мы скажемъ, что въ остальномъ между ними нѣтъ сходства. Бакунинъ, несомнѣнно, былъ доктринеръ и фанатикъ, чего отнюдь нельзя сказать о Рудинѣ. Дилетантъ мысли и благородныхъ чувствъ, Рудинъ имѣетъ опредѣленныя убѣжденія и, навѣрное, никогда не измѣнилъ бы имъ, но мы не видимъ, чтобы онъ слѣдовалъ какой-либо доктрины, и въ его отношеніяхъ къ идеямъ нѣтъ фанатизма. Можно думать только, что въ 50-хъ годахъ Бакунинъ представлялся Тургеневу, какъ умъ и отчасти характеръ, приблизительно въ томъ свѣтѣ, въ какомъ изображенъ Рудинъ, но видѣть въ послѣднемъ вѣрную копію съ первого нельзя». («Исторія русск. интеллигентії», ч. I).

Мнѣніе Д. Н. Овсяннико-Куликовскаго надо признать правильнымъ, потому что въ художественномъ типѣ только нѣкоторыя черты могутъ быть историческими или вообще соотвѣтствовать тѣмъ чертамъ характера, которыя наблюдались авторомъ въ дѣйствительности въ томъ или иномъ лицѣ, такъ какъ творчество, становясь на путь копировки дѣйствительности, перестаетъ быть истиннымъ художественнымъ творчествомъ. Да Тургеневъ и не старался создать портретъ Бакунина.—«Я не столько не хочу,—говорилъ впослѣдствіи Тургеневъ,—но я совершенно не могу, не въ состояніи написать что-нибудь съ предвзятою мыслью и цѣлью, чтобы провести ту или другую идею. У меня выходитъ произведеніе литературное такъ, какъ растетъ трава». («Русская Старина», 1883, окт., 214—15). Стремленіе дать портретъ Бакунина было бы именно «предвзятою цѣлью»; но характеръ Рудина развивался иначе. «Въ основу Рудина положенъ Бакунинъ», говорилъ самъ авторъ,

онъ былъ «натурщикомъ» при созданіи типа, но чтобы литературный герой не былъ портретомъ, отраженіемъ единичного лица, а обладалъ бы обобщющею силою, т.-е. чтобы при посредствѣ даннаго героя могла мыслиться группа однородныхъ характеровъ,—для этого Тургеневъ долженъ былъ наблюдать родственную Рудину психологію также въ другихъ современникахъ. Что это такъ, подтверждаетъ самъ Тургеневъ въ письмѣ къ С. Т. Аксакову: «Мнѣ пріятно, что вы,—пишетъ онъ,—не ищите въ Рудинѣ копіи съ какого-нибудь известнаго лица... Ужъ коли съ кого списывать, такъ съ себя начинать». («Вѣстникъ Европы», 1894, № 2, 494).

XXXIV. *Рудинъ и общія черты русской интеллигенціи 30—40-хъ годовъ.*—Что въ Рудинѣ нашла отраженіе не только психологія Бакунина, но и вообще черты, общія представителямъ русской интелигентіи 30—40-хъ годовъ, объ этомъ можно говорить, хотя бы сравнивая Рудина съ чертами характера поэта Николая Платоновича Огарева, ближайшаго сотрудника Герцена по изданію лондонскаго журнала «Колоколь».

Н. П. Огаревъ (1813—1877), какъ онъ изображенъ въ «Воспоминаніяхъ» Анненкова,—типичный Рудинъ. Послѣдній говорилъ прекрасно... о необходимости дѣлать дѣло». Не менѣе прекрасно и горячо говорилъ о томъ же Огаревъ: «Дайте мнѣ дѣйствія,—восклицалъ онъ,—дайте желаемый кругъ дѣйствія! Я чувствую въ себѣ силу неограниченную. Нѣтъ, еще есть вѣра, и я пойду далеко... Мой fatum (т.-е. предназначение) написанъ рукою Бога по пути вселенной: онъ неизмѣненъ». Къ этому слѣдуетъ припомнить сознаніе Рудина въ его письмѣ къ Натальѣ, что ему «природа много дала».

Далѣе, въ отношеніи Огарева любопытна смѣна его дѣлъ и намѣреній во время жизни въ пензенскомъ имѣніи: «Я читалъ Ганемана,—пишетъ онъ,—убѣжденъ въ дѣйствительности гомеопатіи; я буду лѣчить... Я изобрѣлъ методу обученія въ народныхъ училищахъ... Иногда меня привлекаетъ законодательство: я кое-что написалъ на этотъ счетъ... Придумалъ способъ узнавать вѣсъ электричества...» Дальше слѣдуетъ мысль о созданіи фабрики, которая бы освободила крестьянъ отъ платежа барскихъ и государственныхъ повинностей; а тамъ возникаетъ идея издавать вмѣстѣ съ Гегелемъ журналъ... Ту же неопределеннность и разнохарактерность интересовъ и предпріятій обнаруживаетъ Рудинъ; и все у обоихъ оканчивается неудачно. Анненковъ говоритъ объ Огаревѣ, что «онъ оказывался полнымъ неудачникомъ во всемъ, что ни предпринималъ. Это была избранная натура, созданная на то, чтобы на нее любовались, но не привлекали къ черновой работѣ, требуемой жизнью».

Найдется сходство между Огаревымъ и Рудинымъ также въ ихъ разсужденіяхъ о любви.—«Я,—писалъ Огаревъ,—не долженъ предаваться любви: моя любовь посвящена высшей универсальной «Любви», въ основѣ которой нѣтъ эгоистического чувства наслажденія: я принесу мою настоящую любовь въ жертву на алтарь всемирнаго чувства». Почти такъ же разсуждаетъ Рудинъ, заявляя Натальѣ: «Отъ дѣятельности, отъ блаженства дѣятельности я никогда не

откажусь, но я отказался отъ наслажденія. Мои надежды, мои мечты и собственное мое счастіе не имѣютъ ничего общаго».

Огаревъ, Герценъ, Бакунинъ, Станкевичъ, Бѣлинскій, К. С. Аксаковъ—всѣ они составляли ту среду, которая создала въ 30—40-е годы опредѣленную нравственную атмосферу, и Рудинъ—ея проявленіе. Опь художественный памятникъ переживаній представителей передового общества данной эпохи и, конечно, самого автора.

Характеризуя Рудина со стороны общественныхъ чертъ опредѣленной эпохи, Д. Н. Овсянко-Куликовскій говоритъ:

«Тургеневъ вполнѣ удачно отмѣтилъ самое важное, самое существенное, чѣмъ душевный міръ людей 30—40-хъ годовъ характеризовался по преимуществу. На первый планъ выдвигается здѣсь то, что можно назвать философскою жаждою. Ни одно поколѣніе не отличалось этой чертою въ такой мѣрѣ, какъ именно поколѣніе 40-хъ годовъ, когда съ такимъ рвениемъ философствовали и западники, и славянофилы... Эту жажду философскихъ откровеній изобразилъ Тургеневъ въ словахъ Лежнева о Рудинѣ: «Онъ прочель немнога, но читаль онъ философскія книги, и голова у него такъ была устроена, что онъ тотчасъ же изъ прочитанного извлекалъ все общее, хватался за самый корень дѣла и уже потомъ проводилъ отъ него во всѣ стороны свѣтлыя, правильныя нити мысли, открывалъ духовныя перспективы».

«Итакъ, Рудинъ—философская голова. Какъ умъ, онъ воплощаетъ въ себѣ черты, которыми, несомнѣнно, обладали выдающіеся дѣятели эпохи, въ особенности Бѣлинскій, Бакунинъ, Герценъ и Хомяковъ».

Затѣмъ Д. Н. Овсянко-Куликовскій указываетъ, что у Рудина «настоящій талантъ оратора, трибуна». Эта черта не случайна: она характерна для «людей 40-хъ годовъ», у которыхъ, рядомъ съ философскими дарованіями, выдѣлялись и словесныя, очень цѣнившіяся и имѣвшія несомнѣнное значеніе въ ихъ жизни и дѣятельности. Объ ораторскомъ таланѣ Бакунина говорилось выше. Хомяковъ былъ удивительный діалектикъ и спорщикъ. Бѣлинскій, когда былъ въ ударѣ, развивалъ необычайную силу рѣчи. Грановскій былъ образцовый лекторъ. Е. Ф. Коршъ блесталъ «мѣткимъ и ядовитымъ остроуміемъ», по свидѣтельству Анненкова. Блескъ и обаяніе рѣчи Герцена достаточно извѣстны. Весьма характерно то, что въ воспоминаніяхъ объ эпохѣ 40-хъ годовъ, какъ, напр., соотвѣтственные главы «Былого и думъ» Герцена, «Замѣчательное десятилѣтіе» Анненкова и др., такъ обстоятельно говорится о «словесныхъ» способностяхъ и особенностяхъ лицъ, которымъ посвящены воспоминанія, точно ихъ авторы уже ожидаютъ отъ читателя вопроса Александры Павловны: «А какъ онъ говорилъ?» Намъ невольно вспоминаются при этомъ Наталья и Басистовъ, пораженные рѣчью Рудина, да и вообще вырисовывается то обаяніе, какое въ тѣ годы произвѣдило умное, просвѣщенное, искреннее, горячее, краснорѣчивое слово. Приведу слѣдующее мѣсто изъ воспоминаній Анненкова,

относящееся къ Герцену, но вмѣстѣ съ тѣмъ рисующее и самого, тогда юнаго, автора въ положеніи Басистова: «Признаться сказать, меня ошеломилъ и озадачилъ, на первыхъ порахъ знакомства (съ Герценомъ), этотъ необычайно подвижной умъ, переходившій съ неистощимымъ остроуміемъ, блескомъ и непонятной быстротой отъ предмета къ предмету, умѣвшій схватить и въ складѣ чужой рѣчи, и въ простомъ случаѣ изъ текущей жизни, и въ любой отвлеченной ідее ту яркую черту, которая даетъ имъ физіономію и живое выраженіе. Способность къ поминутнымъ, неожиданнымъ сближеніямъ разнородныхъ предметовъ... была развита у Герцена въ необычайной степени, такъ развита, что подъ конецъ даже утомляла слушателя. Неугасающій фейерверкъ его рѣчи, неистощимость фантазіи и изобрѣтенія, какая-то безоглядная расточительность ума приводили постоянно въ изумленіе его собесѣдниковъ».

«Люди 40-хъ годовъ» много учились, читали, много мыслили и много разговаривали, разговаривали гораздо больше своихъ предшественниковъ и своихъ преемниковъ. Ихъ интимная жизнь протекала въ частыхъ дружескихъ бесѣдахъ, въ которыхъ они отводили душу, и въ нескончаемыхъ спорахъ, въ которыхъ выяснялись ихъ мысли, ихъ разногласія, опредѣлялись ихъ отношенія къ дѣятельности. «Слово» было ихъ «дѣло». Взамѣнъ того, въ практической дѣятельности даже въ узкихъ предѣлахъ возможнаго и доступнаго тогда, они обнаруживали невыдержанность, неумѣлость, отсутствіе дѣловитости и инициативы. Въ этомъ смыслѣ по ихъ адресу высказывались въ 50-хъ и 60-хъ годахъ суровые упреки, въ которыхъ было много справедливаго. Но эти упреки приходится теперь смягчить ссылкою на общія условія времени и на психологію самихъ дѣятелей. Принимая во вниманіе ея важнѣйшая черты, мы скажемъ такъ: главнѣйшая очередная задача времени, улучшеніе быта крестьянъ и подготовка ихъ эманципації, занимала въ ихъ созданіи, въ ихъ мысляхъ и спорахъ, а равно и въ ихъ дѣятельности далеко не подобающее мѣсто. Правда, тѣ изъ нихъ, которые владѣли крестьянами, старались улучшить ихъ бытъ, переводили съ баршины на оброкъ, относились къ нимъ гуманно. Но вѣдь это только тотъ минимумъ, который былъ нравственно обязателенъ для всякаго порядочнаго, доброго помѣщика. Одинъ только Огаревъ рѣшился отпустить своихъ крестьянъ на волю, взять съ нихъ ничтожный сравнительно съ миллионнымъ состояніемъ выкупъ и «устроивъ» ихъ бытъ. Но по непрактичности «устроилъ» дѣло такъ, что его крестьяне попали изъ огня да въ полымя—въ кабалу кулакамъ. Можно ли осуждать Огарева? Разумѣется, нѣтъ. Но можно указывать на такие факты, какъ на доказательство неприспособленности лучшихъ людей 40-хъ годовъ къ важнѣйшему дѣлу, стоявшему тогда на очреди».

«Оставляя въ сторонѣ эту чисто-практическую дѣятельность, мы повторимъ здѣсь то, на что указывалось неоднократно: вырабатывать міросозерцаніе, упражняться въ діалектицѣ, очищать свои чужія головы отъ устарѣлыхъ и дикихъ понятій, распространять

гуманныя идеи и т. д., это было тогда несомнѣнное «дѣло», и люди 40-хъ годовъ отличали его устно, письменно и въ предѣлахъ цензуры, печатно. И Рудинъ въ этомъ отношеніи является типичнымъ представителемъ эпохи, которую можно назвать эпохой первоначальной выработки передовыхъ идей, гуманныхъ стремлений и, такъ сказать, психологическихъ предпосылокъ нравственного и общественного сознанія у насъ. Для такого дѣла «музыка краснорѣчія» была неопѣненнымъ подспорьемъ».

«Главный недостатокъ Рудина, это—то, что онъ самъ слишкомъ увлекается «музыкою своего краснорѣчія» и неосторожно переступаетъ ту границу, которая отдѣляетъ слово, какъ орудіе пропаганды, какъ силу просвѣтительную, отъ слова, какъ легкаго и пріятнаго способа отдѣляться отъ дѣла разговоромъ о немъ, о его необходимости. И это было далеко не чуждо «людямъ 40-хъ годовъ» (не всѣмъ, конечно). Излишество и праздность рѣчи—вотъ «порокъ», которымъ страдали въ разной мѣрѣ говоруны, блестящіе собесѣдники и спорщики того времени. Тургеневъ мѣтко и зло оттѣнилъ въ Рудинѣ эту черту, напр. въ главѣ V, гдѣ Наталья говорить ему: «...вы должны трудиться, стараться быть полезнымъ. Кому же, какъ не вѣамъ»... Въ отвѣтъ на это Рудинъ только «безнадежно махнулъ рукой», но потомъ, воспрянувъ духомъ и «встряхнувъ своей львиной гривой», произнесъ горячую тираду о томъ, что онъ «не долженъ скрывать свой талантъ», «не долженъ растрачивать свои силы на одну болтовню пустую, бесполезную болтовню, на одни слова»...— «И слова его полились рѣкою. Онъ говорилъ прекрасно, горячо, убѣдительно о позорѣ малодушія и лѣни, о необходимости дѣлать дѣло. Онъ осыпалъ самого себя упреками...» и т. д.

Какъ типичный представитель людей эпохи, Рудинъ обладаетъ всѣми качествами, необходимыми для роли «просвѣтителя», кроме одного: работоспособности. У него нѣтъ выдержки въ трудахъ, упорства въ достиженіи цѣли, въ любви къ самому дѣлу «просвѣщенія» въ его трудной, будничной сторонѣ. Онъ любить только говорить о немъ, и пока онъ говоритъ, это дѣло само собою дѣлается. Но бѣда въ томъ, что онъ говоритъ такъ удачно и успѣшно только тогда, когда въ ударѣ, когда его посѣщаетъ «вдохновеніе». А между тѣмъ всякое культурное дѣло, въ томъ числѣ и просвѣтительное, имѣть свою черную работу, свои будни и не можетъ преуспѣвать, если будетъ дѣлаться только по праздникамъ «вдохновенія».

Вотъ именно этою-то невыдержаною въ будничной работе и отличались люди 40-хъ годовъ, кромѣ немногихъ, преимущественно лицъ не-дворянского, не-помѣщичьяго происхожденія, какъ Бѣлинскій, изъ дворянъ—Грановскій. Герценъ много работалъ, но все-таки онъ былъ «баринъ»,—«барство» сказывалось въ его отношеніяхъ къ вещамъ и людямъ, въ самой манерѣ мыслить и понимать». («Исторія гусской интеллигентії», ч. I, глава VI).

ХХХV. Лежневъ—подражатель Байрона.—Лежневъ говорить Липиной: «Вы, можетъ, думаете, я стиховъ не писалъ». Писалъ-сь, и даже цѣлую драму сочинилъ, въ подражаніе Манфреду».

«Манфредъ»—драматическое произведение Байрона. Манфредъ—человѣкъ, надѣленный сверхъестественною силою, постигшій всѣ таинства природы, одаренный необъятнымъ разумомъ, подчиняющій себѣ даже безплотныхъ духовъ. Несмотря на все это, душа Манфреда полна скорбной неудовлетворенностью всѣмъ; его можетъ удовлетворить только забвение самого себя, и потому онъ ищетъ смерти. Манфредъ—одинъ изъ представителей «мировой скорби», подобно другому герою Байрона, Чайлдъ-Гарольду, Рене—Шатобриана, Алеко—Пушкина, Демону и Печорину—Лермонтова. Выше (XXVI) указано сопоставленіе Рудина и Печорина, впервые сдѣланное К. Аксаковымъ и развитое проф. Ивановымъ. Что въ настроении Рудина и другихъ лицъ, подчинявшихся его вліянію, были также ноты «мировой скорби», доказываютъ признанія Лежнева въ томъ, что онъ сочинилъ драму въ подражаніе Манфреду. Такъ сильны были въянія байроновскихъ настроений, что имъ поддавались даже такие флегматические, по собственному признанію, люди, какъ Лежневъ. Это—историческая черта въ біографіи послѣдняго. Конечно, у Лежневыхъ не могло быть глубины разочарованія; въ нихъ оно было мимолетнымъ, не столько идеянымъ, сколько бытovымъ явленіемъ, какъ въ Евгениі Онѣгінѣ. Въ другомъ произведеніи—повѣсти «Два пріятеля»—Тургеневъ подмѣтилъ и отгѣнилъ такой характеръ байроническихъ настроений у рядовыхъ представителей русского общества первой половины 50-хъ годовъ.

Когда Крупицынъ сообщилъ Вязовнику, что онъ везеть егознакомиться съ семействомъ помѣщиковъ Тиходуевыхъ, состоящимъ изъ отца, матери и двухъ дочерей, то Вязовникъ подумалъ: «Словно семейство Лариновыхъ изъ Онѣгина». «И по милости ли этого воспоминанія, по другой ли какой причинѣ, черты его лица приняли на некоторое время видъ разочарованный и скучающій».

XXXVI. Павелъ и Виргинія.—Вспоминая свою юношескую любовь, разрушенную умствованіями Рудина, Лежневъ говоритъ Липиной: «Я бы едва ли женился тогда на моей барышнѣ, но, по крайней мѣрѣ, мы бы съ ней славно провели нѣсколько мѣсяціевъ, въ родѣ Павла и Виргиніи».

«Павелъ и Виргинія»—сентиментальный романъ Жака-Анри Бернардена де-Сен-Пьера, французского писателя XVIII вѣка, вышедши въ 1788 году. Въ немъ изображается жизнь двухъ семействъ на Островѣ Франціи (нынѣ островъ св. Лаврентія): госпожи де-ла-Туръ и ея дочери Виргиніи и Маргариты и ея сына Поля (Павла). Какъ обѣ матери, такъ и особенно дѣти были связаны нѣжною любовью другъ къ другу и проводили время въ спокойномъ и счастливомъ трудѣ на своей землѣ. «Каждый день былъ для этихъ семействъ днемъ счастья и мира»,—говоритъ про нихъ сосѣдъ.

Окончаніе романа, однако, трагическое: Виргинія погибаетъ при кораблекрушеніи; остальные герои романа умираютъ одинъ за другимъ отъ охватившаго ихъ горя.

XXXVII. Наталья въ характеристику Лежнева.—«Наталья,—говоритъ Лежневъ Липиной,—не ребенокъ, повѣрьте мнѣ, хотя, къ

несчастію, неопытна какъ ребенокъ. Вы увидите, эта дѣвочка удивитъ всѣхъ насъ». — Какимъ это образомъ? — «А вотъ какимъ образомъ... Знаете ли, что именно такія дѣвочки топятся, принимаютъ ядъ и такъ далѣе? Вы не глядите, что она такая тихая: страсти въ ней сильныя, и характеръ — тоже ой-ой!»

Давая такую характеристику Натальѣ устами Лежнева, Тургеневъ повторяетъ въ ея лицѣ характеръ другой своей героини, изъ произведения, предшествовавшаго «Рудину», именно изъ «Затишья». Героиня этой повѣсти Марья Павловна такъ же чувствовала глубоко и сильно, какъ и Наталья; такъ же мало говорила. Полюбивъ Веретьеву и разочаровавшись въ немъ, Марья Павловна кончаетъ самоубійствомъ, бросившись въ прудъ. Наталья, какъ говорить Лежневъ, по натурѣ также способна на это. Но условія жизни Марыи Павловны и Натальи различны, и потому послѣдняя не приходитъ къ трагическому концу. У Марыи Павловны нѣть никакихъ привязанностей, у Натальи все же есть родная семья; Марья Павловна совершенно необразованная женщина, и потому чувства ея должны быть непосредственнѣе, чѣмъ у Натальи, дѣвушки хорошо воспитанной и для своего времени достаточно образованной. Кромѣ того, Марья Павловна грубѣе и суровѣе Натальи.

ГЛАВА VII.

XXXVIII. Мінніе Рудина о призваніи женщины. — Рудинъ говоритъ Натальѣ: «Вы не разъ слышали мое мнѣніе о призваніи женщины, вы знаете, что, по-моему, одна Жанна д'Аркъ могла спасти Францію»...

Высокое мнѣніе о призваніи женщины не было принадлежностью міросозерція одного Рудина, — для идеалистовъ 30-хъ годовъ, въ значительной степени романтиковъ, это была общая черта. Н. В. Станкевичъ въ одномъ изъ своихъ писемъ къ Я. М. Невѣрову (21 сент. 1836 г.) говоритъ: «Мужчина грубъ въ своей добродѣтели, всѣ благо родные порывы души его носятъ какую-то печать цинизма, какую-то жестокость; въ немъ больше стоицизма, чѣмъ христіанства, нежели человѣчества. Только вліяніемъ женщины, вліяніемъ семейныхъ отношеній — это благородное, сильное, но все немножко деспотическое, чувство долга обращается въ отрадное чувство любви, сознаніе добра — въ непосредственное его ощущеніе». Бѣлинскій говоритъ, что натура женщины — «любовь и самоотверженіе». (*«Сочиненія Пушкина»*, глава VIII).

XXXIX. Ла-Рошфуко. — Французскій писатель-моралистъ XVII вѣка. Сборникъ его афоризмовъ «Максимы» проникнутъ скептическимъ и невысокимъ отношеніемъ къ нравственной природѣ человѣка.

XL. Рудинъ — куцый. — Когда за обѣдомъ у Ласунской Пигасовъ началъ разсуждать о «куцыхъ и длиннохвостыхъ» людяхъ и Рудинъ «небрежно» замѣтилъ, что его мнѣнія опредѣленіе уже давно были

высказаны Ла-Рошфуко, прибавивъ: «Къ чему тутъ было примѣшивать хвостъ, я не понимаю», Волынцевъ рѣзко заговорилъ: «Позвольте каждому выражаться, какъ ему вздумается. Толкуютъ о деспотизмѣ... По-моему, нѣть хуже деспотизма такъ называемыхъ умныхъ людей. Чортъ бы ихъ побраль!»

«Всѣхъ изумила выходка Волынцева, всѣ притихли. Рудинъ посмотрѣлъ было на него, но не выдержалъ, отворотился, улыбнулся и рта не разинулъ.

«Эге, да и ты куцъ!» подумалъ Пигасовъ».

Эту характеристику Рудина, какъ «куцаго», потому что онъ не обнаружилъ въ данномъ случаѣ увѣренности въ себѣ и силы воли, можно сблизить съ самохарактеристикой другого тургеневскаго героя—Нежданова (*«Новь»*). У послѣдняго нѣть нужной для политического пропагандиста увѣренности въ себѣ, въ своемъ дѣлѣ; онъ съ зависистю говорить о видѣнномъ имъ сектантскомъ проповѣднике, который самъ не зналъ, что онъ проповѣдывалъ, но зато говорилъ съ необычайнымъ возбужденіемъ; и потому Неждановъ, сознавая свое нравственное безсиліе, признается: «Окургузила меня жизнь».

ГЛАВА IX.

XLI. *Ловласъ*.—«Зачѣмъ,—спрашиваетъ самъ Тургеневъ о Рудинѣ,—не прикидываясь даже Ловласомъ, эту справедливость отдать ему слѣдуетъ, сбѣль онъ съ толку бѣдную дѣвушку?»

Ловласъ—герой романа англійскаго писателя Самюэля Ричардсона *«Кларисса, или Исторія молодой дѣвушки, заключающая въ себѣ важнѣйшия отношенія семейной жизни и въ особенности открывающая несчастія, которыя происходятъ, когда родители и дѣти не предусмотрительны въ дѣлахъ брака»* (1748 г.). «Ловласъ—джентльменъ тогдашняго высшаго свѣта, ловкій, обязательный, рыцарскій, но и развратный, для которого женская красота и невинность составляютъ только привлекательную приманку его необузданной страсти». (Геттнеръ, *«Исторія всеобщей литературы»*, т. I, 378, изд. 1896 г.) Героиня романа Кларисса Гарлоу, нелюбимая въ семействѣ дочь, спасаясь отъ домашняго гнета, отдаетъ себя подъ покровительство Ловласа, который обольщаетъ ее самыми преступными способами, прибѣгнувъ къ опіуму.

Имя Ловласа было очень популярно въ Россіи въ первой половинѣ XIX вѣка. Славою Ловласа прельщался въ юности Евгений Онѣгинъ; когда мать Татьяны была еще дѣвушкою, она увлекалась героями Ричардсона: Грандисономъ и Ловласомъ, потому что «княжна Полина, ея московская кузина, твердила часто ей объ нихъ».

XLII. *Свиданіе Рудина съ Наталией у Авдюхина пруда*.—Литературные критики различно посмотрѣли на сцену у Авдюхина пруда: одни основывали на ней положительную характеристику героини,

другіе видѣли въ сценѣ свиданія Натальи съ Рудинымъ только проявленіе ея необдуманной страсти къ послѣднему.

На основаніи этой сцены идеализируетъ Наталью С. А. Венгеровъ: «Наталья,—говорить онъ,—женщина дѣла, а не одного лишь слова. Разъ она чѣмъ-нибудь прониклась, она не останавливается ни передъ чѣмъ въ достижениіи своей цѣли. Какъ неизмѣримо выше Рудина становится она тогда, когда, несмотря на угрозы матери, рѣшается бросить свое обеспеченное положеніе, чтобы раздѣлить съ любимымъ человѣкомъ горе и нужду... Поведеніе ея настолько достойно, настолько внушаетъ къ себѣ уваженіе и почтеніе, что Рудинъ теряется и ничего не можетъ возразить противъ ея проникнутыхъ негодованіемъ на него нападокъ. Здоровая логика Натальи не даетъ Рудину возможности пустить въ ходъ столь излюбленное имъ оружіе діалектики, и онъ, посрамленный, долженъ удалиться съ поля сраженія».

Н. В. Шелгуновъ, наоборотъ, видитъ въ сценѣ свиданія положительныя стороны личности героя и отрицательныя героини, проявляющей «неразуміе и неспособность видѣть и оцѣнить послѣдствія».—«Вы струсили,—говорить Тургеневская героиня Тургеневскому герою;—я же готова съ вами на край свѣта»... И нужно сказать правду, что въ трусости героя гораздо больше ума, чѣмъ въ отважности героини. Героиня дѣйствуетъ по короткому порыву; она только желаетъ страсти и требуетъ немедленного удовлетворенія своей страсти... Разумѣется, герои были правы, когда отклоняли неопытныхъ дѣвшукъ отъ подобнаго намѣренія».

А. М. Скабичевскій за сцену у Авдюхина пруда обрушился на самого Тургенева, сдѣлавъ на основаніи ея выводъ объ узости міросозерцанія автора: «Рудинъ не захотѣлъ всего себя посвятить счастью любимой женщины, слѣдовательно, онъ не способенъ любить; Рудинъ, которому и одному-то жутко на свѣтѣ, не захотѣлъ взвалить себѣ на шею ношу въ видѣ жены, избалованной прежнею жизнью, слѣдовательно, онъ—безхарактерный трусъ. Г. Тургеневъ никакъ не могъ представить себѣ энергического, храбраго, любящаго человѣка въ иномъ видѣ, какъ не героемъ, отважно похищающимъ сабинянку, чтобы потомъ быть готову броситься для нея въ воду».

Въ этихъ словахъ Скабичевскаго нѣтъ объективности. Они были написаны въ 1867 году, когда Тургеневъ, порвавъ съ журналомъ «Современникъ», стоявшемъ во главѣ передового направленія русской общественной мысли, сталъ подвергаться нападкамъ со стороны либеральныхъ круговъ и, между прочимъ, со стороны Герцена въ «Колоколѣ», за переходъ въ консервативный «Русский Вѣстникъ» Каткова и за осмѣяніе крайнихъ общественныхъ течений въ романѣ «Дымъ». Скабичевскій былъ правовѣрный шестидесятникъ, и съ этой стороны необходимо подойти къ его обвиненіямъ Тургенева за сцену у Авдюхина пруда: въ его художественную критику примѣщались общественно-партийные отношенія къ писателю.

ГЛАВА XI.

XLIII. Сравнение Рудина с Донъ-Кихотомъ.—По отъездѣ єть Ласунской Рудинъ говорить провожающему его Басистову: «Помните ли вы, что говоритъ Донъ-Кихотъ своему оруженосцу, когда выѣзжаетъ изъ дворца герцогини? Свобода,—говорить онъ,—другъ мой Санчо, одно изъ самыхъ драгоценныхъ достояній человѣка, и счастливъ тотъ, кому небо даровало кусокъ хлѣба, кому не нужно быть за него обязаннымъ другому! Что Донъ-Кихотъ чувствовалъ тогда, я чувствую теперь»...

Слова Донъ-Кихота о свободѣ находятся въ LVIII главѣ II тома «Донъ-Кихота» Сервантеса. Рудинъ приводитъ только основную мысль, Донъ-Кихотъ говоритъ пространнѣе: «Свобода, Санчо, это драгоценнѣйшее благо, дарованное Небомъ человѣку. Ничто не сравнится съ нею: ни сокровища, скрытые въ недрахъ земныхъ, ни скрытая въ глубинѣ морской. За свободу и честь человѣка долженъ жертвовать же жизнью, потому что рабство составляетъ величайшее земное бѣдствіе. Ты видѣлъ, другъ мой, изобиліе и роскошь, окружавшія наскъ въ замкѣ герцога. И что же, вкушая эти изысканныя яства и замороженные напитки, я чувствовалъ себя голоднымъ, потому что пользовался ими не съ той свободой, съ какою пользовался бы своею собственностью: чувствовать себя обязаннымъ за милости, значитъ налагать оковы на свою душу. Счастливъ тотъ, кому Небо дало кусокъ хлѣба, за который онъ можетъ благодарить только Небо».

А. В. Дружининъ въ своемъ разборѣ романа пользуется эпизодомъ цитированія Рудинымъ словъ Донъ-Кихота для сравненія характера (то переживаній съ чувствами Натальи Ласунской: послѣдняя «живетъ юбимымъ избраникомъ, не говоря ни одной фразы; Рудинъ, въ свою очередь, такъ и сыплетъ фразами, а разставшись съ любящей дѣвушкой, вспоминаетъ слова Донъ-Кихота Санчо-Пансѣ: «Свобода, другъ мой Сано, это одно изъ драгоценнѣйшихъ достояній человѣка!» Вотъ что говорить Рудинъ въ тѣ минуты, когда у любящей дѣвушки сердце разрывается на части!»

XLIV. Письмо Рудина къ Натальѣ.—И. И. Ивановъ, характеризующій Рудина, какъ «московскаго Чайльдъ-Гарольда сороковыхъ годовъ», какъ личность печоринскаго типа (см. XXVIII) въ письмѣ Рудина къ Натальѣ видитъ подтвержденіе своего мнѣнія.

«Онъ,—говоритъ критикъ про Рудина,—въ послѣдній разъ обращается къ ней послѣ разлуки, повергшей ее въ отчаяніе. И неужели у него не нашлось бы простыхъ сердечныхъ словъ, даже въ эту минуту, если бы для него разлука являлась дѣйствительно лишенiemъ, разрывомъ съ единствено дорогимъ человѣкомъ? У Рудина совершенно не оказывается такихъ словъ, онъ письмо сочиняетъ, какъ вѣкую адвокатскую рѣчь, по всѣмъ правиламъ риторики, съ умными разсужденіями, съ чувствительными изліяніями, съ лирическимъ

безпорядкомъ и безчисленными многоточіями. Вотъ разскaзъ объ этихъ странныхъ минутахъ «несчастнаго любовника».

«Онъ очень долго сидѣлъ надъ этимъ письмомъ, многое въ немъ перемарывалъ и передѣлывалъ и, тщательно списавъ его на тонкому листу почтовой бумаги, сложилъ его какъ можно мельче и положилъ въ карманъ. Съ грустью на лицѣ прошелся онъ нѣсколько разъ взадъ и впередъ по комнатѣ, сѣлъ на кресло передъ окномъ, подперся рукою; слеза тихо выступила на его рѣсицы... Онъ всталъ, застегнулся на всѣ пуговицы, позвалъ человѣка и велѣлъ спросить у Дарьи Михайловны, можетъ ли онъ ее видѣть».

«Вы чувствуете ироническій тонъ разскaзчика, и это вполнѣ естественно. Вся сцена искусственна, театральна. Рудинъ не забываетъ играть роль во всякомъ положеніи, «лиются ли рѣкой» его слова или тихая слеза выступаетъ на его рѣсицы... Самое письмо лишено цѣльного чувства, лишено даже открытой объединяющей идеи. Сначала Рудинъ изображаетъ себя осужденнымъ на вѣчное одиночество: это величественная картина, намекъ на демоническую карьеру. Въ концѣ письма другой мотивъ нераздѣленныхъ страданій: самобичеваніе. Онъ—«неоконченное существо», онъ «весь разсыпался при первомъ препятствіи», «испугался отвѣтственности», и поэтому «недостоинъ» Натальи.

«Очевидно, одно представлениe уничтожаетъ другое. То герой вообще врядъ ли способенъ «любить любовью сердца», то, полюбивъ, онъ бѣжитъ отъ отвѣтственности... Письмо, такимъ образомъ, въ послѣднихъ аккордахъ воспроизводитъ излюбленныя темы байроническихъ рѣчей Рудина: геніальничанье рядомъ съ самоуничтоженіемъ, разсчитанные на созвучные волненія женскаго сердца».

Что письмо къ Натальѣ идетъ отъ ума, а не отъ сердца Рудина, и что въ этомъ письмѣ онъ стремится сохранить за собою позу, вызывающую сочувствіе, видно изъ словъ автора, вставленныхъ въ середину письма: «Здѣсь Рудинъ разскaзать, было, Натальѣ свое посѣщеніе у Волынцева, но подумать и вымарать все это мѣсто, а въ письмѣ къ Волынцеву прибавить второй postscriptum». Въ этомъ postscriptumъ Рудинъ просить Волынцева «не упоминать» передъ Натальей о посѣщеніи имъ послѣдняго. Объясняется это тѣмъ, что въ самомъ Рудинѣ посѣщеніе имъ Волынцева оставило очень непріятное воспоминаніе. Тургеневъ такъ разскaзываетъ объ этомъ: «Рудинъ вернулся домой (отъ Волынцева) въ состояніи духа смутногъ и странногъ. Онъ досадовалъ на себя, упрекалъ себя въ не-простительной опрометчивости, въ малчишествѣ. Не даромъ сказалъ кто-то: нѣтъ ничего тягостнѣе сознанія только что сдѣланной глупости».

«Раскаяніе грызло Рудина.

«Чортъ меня дернулъ,—шепталъ онъ сквозь зубы, — сѣѣздить къ этому помѣщику. Вотъ пришла мысль! Только на дерзости напрашиваться!..»

Понятно,! что Рудину не хотѣлось, чтобы его «опрометчивый», «непростительный» и «мальчишескій» поступокъ дошелъ до свѣдѣнія Натальи.

Форма обращенія этого письма Рудина: любезная (любезный, любезнѣйшій)—обычна въ частныхъ письмахъ какъ Тургенева, такъ и другихъ его современниковъ. Впослѣдствіи она была вытѣснена иными формами обращенія и стала даже казаться недостаточно вѣжливою. Такъ, извѣстный художникъ-баталистъ В. П. Верещагинъ, переписывавшій съ Тургеневымъ, но какъ-то возмутившійся его генеральскимъ обхожденіемъ, перенесъ свое возмущеніе и на имѣвшіяся у него письма Тургенева: «Какой я ему любезный!»—говорилъ Верещагинъ по поводу обычного для Тургенева обращенія. Напрасно его увѣряли, что Тургеневъ ко всѣмъ такъ обращается,—Верещагинъ остался при убѣждѣніи, что обращеніе—любезный показываетъ высокомѣрное отношеніе Тургенева къ своему адресату, и сжегъ всѣ бывшія у него письма автора «Рудина».

XLV. Душевное состояніе Натальи послѣ получения письма Рудина.—Изображая душевное состояніе Натальи послѣ прочтенія ею письма Рудина, авторъ говоритъ: «Она сидѣла не шевелясь; ей казалось, что какія-то темные волны безъ плеска сомкнулись надъ ея головой, и она шла ко дну, застывая и нѣмѣя».

Тургеневъ въ своей литературной работѣ иногда пользовался удачными выраженіями собственной частной переписки. Такъ, нѣкоторыя мѣста изъ писемъ его къ С. Т. Аксакову вошли въ романъ «Отцы и дѣти» (XI глава); нѣсколько строкъ одного письма Тургенева къ Фету такъ же вошло въ данный романъ (въ VII главѣ). Послѣднія слова приведенной цитаты взяты Тургеневымъ изъ своего письма къ Е. М. Феоктистову отъ 1852 г. 26 февраля. Именно, сообщая о своихъ чувствахъ по поводу смерти Гоголя, Тургеневъ писалъ: «Мнѣ, право, кажется, что какія-то темные волны безъ плеска сомкнулись надъ моей головой,—и я иду на дно, застывая и нѣмѣя». (Н. М. Гуттѣръ, «Творчество И. С. Т., процессъ его и приемы.»)

XLVI. «Кто чувствовалъ, того тревожитъ»...—изъ «Евгения Онѣгина», I, XLVI.

ГЛАВА XII.

XLVII. Корчагинъ.—По поводу предложения, сдѣланнаго Ео-лынцевымъ Натальѣ, и согласія ея и Дары Михайловны на это, Лежневъ спрашиваетъ Басистова: «Скажи пожалуйста, до насъ доходили слухи о какомъ-то господинѣ Корчагинѣ. Стало-быть, это былъ вздоръ?»

(Корчагинъ былъ красивый молодой человѣкъ—свѣтскій левъ, чрезвычайно надутый и важный: онъ держался необыкновенно величественно, точно онъ не живой человѣкъ, а собственная своя статуя, воздвигнутая по общественной подцискѣ.)

— Ну, нѣтъ, не совсѣмъ вздоръ,—съ улыбкой возразилъ Басистовъ:—Дарья Михайловна очень къ нему благоволила; но Наталья Алексѣевна и слышать о немъ не хотѣла.

Какой художественный смыслъ имѣть это упоминаніе о Корчагинѣ, при томъ сопровождаемое его характеристикой?

Введя въ исторію Натальи Ласунской эпизодъ съ Корчагинымъ, къ которому Дарья Михайловна «очень благоволила», Тургеневъ устраниетъ возможность предположенія со стороны читателя, что Наталья выходитъ замужъ за Волынцева не по своей волѣ и не въ силу личныхъ симпатій, а, подобно Татьянѣ Лариной, потому, что для нея уже «всѣ были жребіи равны» послѣ того, какъ ее постигъ ударъ въ ея первой искренней любви. Критикъ П. В. Анненковъ на основаніи этого видѣлъ въ Татьянѣ «способность къ сдѣлкамъ съ своею совѣстью». Тургеневъ могъ опасаться этого и потому желалъ подтвердить нравственную самостоятельность своей героини, которая руководится только своими чувствами, а не честолюбивыми стремленіями матери, не гонится за внѣшнимъ положеніемъ въ свѣтѣ и потому даже не хочетъ слышать о человѣкѣ, который не нравится ей, хотя бы онъ въ этомъ свѣтѣ и игралъ «роль не изъ послѣднихъ».

XLVIII. Националистическая идея Лежнева.—«Несчастье Рудина, — говорить Лежневъ, — состоитъ въ томъ, что онъ Россіи не знаетъ, и это, точно, большое несчастье. Россія безъ каждого изъ насъ обойтись можетъ, но никто изъ насъ безъ нея не можетъ обойтись. Горе тому, кто это думаетъ, вдвойнѣ горе тому, кто дѣйствительно безъ нея обходится! Космополитизмъ — чепуха, космополить — нуль, хуже нуля; вѣнч народности ни художества, ни истины, ни жизни, ничего нѣтъ. Безъ физіономіи нѣтъ даже идеального лица; только пошлое лицо возможно безъ физіономіи».

Относительно происхожденія этой проповѣди народности Д. Н. Овсянико-Куликовскій приводитъ такое соображеніе:

«Рудинъ» былъ написанъ какъ разъ въ то время, когда произошло пѣкоторое сближеніе между Тургеневымъ и славянофилами, когда поэтъ поддерживалъ дружескую переписку съ Аксаковыми. Можно предполагать пѣкоторое вліяніе со стороны послѣднихъ... Это вліяніе я представляю себѣ въ слѣдующемъ видѣ. Тургеневъ не усвоилъ (и не могъ усвоить) доктрины славянофильства, не могъ стать на точку зрѣнія этой партіи, но онъ, какъ вдумчивый и чуткій художникъ, долженъ былъ заинтересоваться самымъ фактъмъ появленія людей, проводившихъ принципъ народности, идеалистовъ, влюбленныхъ (если можно такъ выразиться) въ русскую национальность и стремившихся сознательно обосновать на ея началахъ и поэзію, и всякое творчество и общественные, даже политические идеи и идеалы. Вспомнимъ, что въ ту эпоху, — въ половинѣ 50-хъ годовъ, — независимо отъ славянофильской пропаганды, интересъ къ народности сталъ распространяться въ широкихъ кругахъ общества, и уже возникало своеобразное умственное теченіе, занимавшее какъ бы середину между демократическимъ слав-

вянофильствомъ и радикальнымъ западничествомъ, — народничество, въ которомъ вскорѣ должны были объединиться лучшіе элементы того и другого. Интересъ къ народу и сочувствіе къ нему, все усиливавшіеся въ виду мелькавшей вдали, въ предразсвѣтномъ туманѣ безвременія, крестьянской реформы, оживляли и самое чувство народности. Тургеневъ не могъ остатся незатронутымъ этими вѣяніями. Они отразились уже въ «Запискахъ охотника», имѣю въ отдѣльномъ изданіи ихъ 1852 года. Три года спустя поэтъ отдалъ дань новому вѣянію въ «Рудинѣ» — вышеприведенной тирадой, вложенной въ уста Лежнева. Но это не значитъ, конечно, что въ фігурѣ Лежнева Тургеневъ хотѣлъ изобразить славянофильское умонастроеніе 40-хъ годовъ. Въ защиту идеи народности выступали тогда не одни славянофилы. Во всемъ остальномъ, что говорить Лежневъ, не видать сколько-нибудь ясныхъ признаковъ самой доктрины славянофильства. Въ энтузіазмѣ, съ которыемъ Лежневъ говоритъ о народности, сквозитъ одно: сознаніе нѣкоторой отвлеченности и беспочвенности пропаганды Рудина, мысль, что нужно изучать Россію, народъ и, путемъ такого изученія, добиться обоснованія на національной почвѣ тѣхъ общечеловѣческихъ идеаловъ, проводникомъ которыхъ является Рудинъ. Если видѣть здѣсь народническую, въ тѣсномъ смыслѣ, идею, окрѣпшую и распространившуюся позже, то пришлось бы тираду Лежнева признать нѣкоторымъ анахронизмомъ. Но въ словахъ Лежнева мы видимъ только энтузіазмъ къ идеѣ народности, а вовсе не тотъ культь самого народа, которымъ по преимуществу и характеризуется народничество, зачинавшееся въ 50-хъ годахъ. Идея Лежнева, собственно говоря, не народническая, а націоналистическая, и она легко могъ проникнуться ею не только подъ вліяніемъ ученія славянофиловъ 40-хъ годовъ, но и подъ впечатлѣніемъ того, что писалъ на эту тему Бѣлинскій.

Дѣйствительно въ сочиненіяхъ Бѣлинскаго мы постоянно сталкиваемся съ проповѣдью національности, начиная съ его первой большой статьи — «Литературныхъ мечтаній» (1834 года). А въ «Очеркахъ Бородинскаго сраженія» (1839 г.) находимъ близкое къ тирадѣ Лежнева разсужденіе Бѣлинскаго о національности и космополитизмѣ: «Всякій народъ отличается единствомъ языка, а слѣдовательно и характера мысли, взгляда на вещи и способа понимать ихъ (потому что языкъ есть осуществившееся, явившееся понятіе), единствомъ религії, образа правленія, родовымъ сходствомъ въ образѣ вѣнчаней жизни, наконецъ, семѣстvenнымъ сходствомъ физіономіи составляющихъ его индивидуумовъ, такъ что трудно не узнать по одному лицу англичанина, француза, нѣмца, итальянца, татарина и т. д. Это сходство, это единство, это родство — священны, потому что основаніе ихъ плоть и кровь, какъ первоначальные формы духа. И вотъ почему космополитъ есть какое-то ложное, двухсмысленное, странное и непонятное явленіе, какой-то блѣдный, туманный призракъ, а не яркая и живая дѣйствительность».

Д. Н. Овсянико-Куликовскій говоритъ, что Лежневъ могъ проникнуться націоналистическими тенденціями не только подъ влініємъ проповѣди славянофиловъ, но и подъ влініємъ статей Бѣлинскаго. Здѣсь упущено изъ виду одно, что Лежневъ самъ членъ того кружка, изъ котораго одни примкнули къ славянофиламъ, какъ Аксаковы, Ю. Самаринъ; другіе, какъ Бѣлинскій, Бакунинъ,—къ западникамъ. Въ историческомъ же кружкѣ Станкевича, гдѣ господствовали Шеллингъ и Гегель, съ ихъ ученіемъ о проявленіи мірового духа въ національно-исторической сущности отдельныхъ народовъ, идеи національности не могли не занимать умы членовъ кружка, и здѣсь у однихъ выработался большій наклонъ мысли къ славянофильству, у другихъ—къ западничеству. Лежнева Тургеневъ, очевидно, желалъ изобразить примыкающимъ къ первому теченію. Если же въ словахъ Лежнева «не видать сколько-нибудь ясныхъ признаковъ самой доктрины славянофильства», то это согласно съ общими художественными пріемами изображенія въ романѣ «Рудинъ». Тургеневъ вообще избѣгаетъ прямыхъ и точныхъ указаний на дѣйствительные факты: оттого въ изложеніи идей кружка Покорскаго нѣть опредѣленныхъ признаковъ ни шеллингіанства, ни гегеліанства; оттого Покорскій—бѣднякъ, въ противоположность Станкевичу, котораго онъ изображаетъ; оттого Рудинъ—только психологической намекъ на Бакунина.

Кромѣ вопроса объ общественномъ источнику національныхъ идей, выраженныхъ въ романѣ, есть другой вопросъ о томъ, что побуждало Тургенева выступить съ проповѣдью національности и съ этой стороны освѣтить «несчастье» Рудина.

Обстоятельства къ этому можно видѣть въ самомъ времени написанія романа—въ разгаръ Севастопольской кампаніи. Какъ всякая война, угрожающая государству, она породила подъемъ національныхъ чувствъ и осужденіе космополитизма. Одинъ современникъ заноситъ въ это время въ свой дневникъ такія слова: «Всего болѣе боялись мы и стыдились быть русскими! Обезьяны Европы! И звучный, пышный, благородный языкъ свой мы представили употребленію, какъ сами говоримъ, непросреѣщенной части народа... Мы накликали на себя карту Провидѣнія Божія!» (Барсуковъ, «Жизнь и труды Погодина», XIII, 37). Это національное теченіе, наконецъ, становится настолько популярнымъ, что вырождается въ ничего незначащую вѣшноть. Поэтому въ то время серьезно посились съ мыслью переименовать камергеровъ въ стольниковъ, камеръ-юнкеровъ въ ключниковъ, а нѣкоторыя дамы рѣшили замѣнить парижскіе фасоны сарафанами.

Именно, подъ влініемъ общаго настроенія въ эпоху войны Тургеневъ высказался въ защиту народности и противъ космополитизма.

XLIX. Настойчивость въ характерѣ Рудина. — Рудинъ разсказываетъ Лежневу въ эпилогѣ: «Шесть мѣсяцевъ прожили мы въ землянкахъ. Курбѣевъ однимъ хлѣбомъ питался, я тоже не доѣдалъ».

Н. М. Гутъяръ въ книжѣ «И. С. Тургеневъ» (1907 г.) пишеть: «Слабохарактерность Рудина усматриваются обыкновенно въ его поэтическомъ отказѣ отъ рѣшительныхъ мѣръ при послѣднемъ свиданіи съ Наталіей, въ его какъ бы трусливомъ отступленіи передъ женитьбой. Но при чемъ здѣсь воля, крѣпость ея или безсиліе, когда Рудинъ не любилъ очарованной имъ дѣвушки? Указываютъ также, какъ на признакъ слабоволія, на практическую безрезультатность стремленій Рудина. Но развѣ упорный, постоянный порывъ къ дѣятельности, проявляемый имъ, есть признакъ безхарактерности? «Съ тѣхъ поръ, какъ я разстался съ тобой, говорилъ онъ Лежневу, я переиспыталъ и переизвѣдалъ многое... Начиналъ я жить, принимался за новое разѣ двадцать». Человѣкъ, лишенный воли, не станетъ искать, не станетъ горячо и съ увлечениемъ браться за новое дѣло, потерпѣвъ неудачу на предыдущемъ. Неужели шестимѣсячное голоданіе въ землянкахъ за разработкой проекта углубленія рѣки въ кампаніи съ Курбѣевымъ есть признакъ отсутствія характера?»

L. Учительство Рудина.—Учительство Рудина очень напоминаетъ профессорство въ университѣтѣ св. Владимира упомянутаго выше поэта Василія Ивановича Красова (XXXII). Слушавшій его лекціи М. К. Чалый такъ характеризуетъ ихъ въ своихъ воспоминаніяхъ: «Красовъ читалъ теорію краснорѣчія, подъ вліяніемъ минуты, съ необыкновеннымъ жаромъ, но безъ обдуманнаго плана и предварительного подготовленія. Ему недоставало ни свѣдѣній, ни терпѣнія къ пріобрѣтенію познаній. Восторженное состояніе, въ которомъ онъ находился постоянно, было скорѣе дѣломъ фантазіи, болѣзненно развитой на счетъ другихъ душевныхъ силъ. Дилетантизмъ, нетерпимый въ наукѣ, въ школѣ московскихъ словесниковъ пріобрѣль, такъ сказать, право гражданства: науку о словѣ они третировали не какъ науку, а какъ искусство красно говорить. Подложный жаръ, звучныя фразы, искусственный пажесъ, театральные жесты—замѣняли у нихъ спокойное, строго-научное изложеніе предмета».

Особенно характерно отношеніе Красова къ наукѣ сказалось на его диспутѣ. «Ректоръ Неволинъ,—рассказываетъ Чалый,—предложилъ Красову вопросъ: что такое изящное? Врагъ всякихъ научныхъ опредѣленій, восторженный поэтъ отвѣчалъ одними лишь примѣрами и сравненіями. Вообразите,—говоритъ,—море во время бури, нависшія надъ пропастью скалы, озаренные блескомъ молний..., прочтите стихотвореніе Пушкина: «Ты видѣлъ дѣву на скалѣ». Однимъ словомъ,—сказалъ въ заключеніе Красовъ,—прекраснаго опредѣлить невозможно; его только можно чувствовать.—Нельзя же, г. Красовъ, быть докторомъ чувствительности,—замѣтилъ съ ядовитой улыбочкой К. А. Неволинъ и тѣмъ заключилъ преніе. («Статьи по новѣйшей русской литературѣ акад. Н. П. Дашкевича»).

Рудинъ, излагавшій то, что было у него «на душѣ», былъ также больше учителемъ чувствительности, чѣмъ русской словесности.

ЛІ. Рудинъ и Гамлетъ Щигровскаго уѣзда.—Рассказывая о своей неудачной педагогической деятельности, Рудинъ заканчивает слѣдующими словами: «Я принужденъ быть выйти въ отставку. Я этимъ не ограничился, я хотѣлъ показать, что со мной нельзя поступить такъ... но со мной можно было поступить, какъ угодно... Я теперь долженъ выѣхать отсюда».

Рудинъ переоцѣниваетъ общественное значеніе своей личности. Но окружающее общество, видя въ Рудинѣ Фразера, перестаетъ чувствовать въ немъ нравственную силу и никакъ не считается съ нимъ. Онъ оказывается «куцымъ», по характеристикѣ Пигасова, но поздно уразумѣваетъ это.

Совершенно такое же положеніе находимъ въ «Гамлете Щигровскаго уѣзда». Герой разсказа Василій Васильевичъ долго считаетъ себя значительною личностью, но разговоръ съ исправникомъ открываетъ ему глаза на отношеніе къ нему общества. Когда Василій Васильевичъ сказалъ исправнику, что онъ такъ же могъ бы претендовать на выборы въ предводители, какъ и нѣкій помѣщикъ Орбассановъ, который не отличался ни богатствомъ, ни знатностью,—исправникъ возразилъ на это: «Эхъ, Василій Васильевичъ, не намъ бы съ вами о такихъ людяхъ разсуждать: гдѣ намъ? Знай сверчокъ свой шестокъ...»

— «Завѣса,—рассказываетъ Василій Васильевичъ,—спала съ глазъ моихъ; я увидѣлъ ясно, яснѣе, чѣмъ лицо свое въ зеркалѣ, какой я былъ пустой, ничтожный и ненужный, неоригинальный человѣкъ!»

То же нравственное сознаніе и въ словахъ Рудина: «но со мной можно было поступить, какъ угодно».

ЛІІ. Противорѣчіе въ словахъ Рудина.—Рудинъ говоритъ Лежневу: «Помнишь, когда мы съ тобой были за границей, я былъ тогда самонадѣянъ и ложень... Точно, я тогда ясно не сознавалъ, чего я хотѣлъ, я упивался словами и вѣрилъ въ призраки; но теперь, клянусь тебѣ, я могу громко, передо всѣми высказать все, чего я желаю. Мнѣ рѣшительно скрывать нечего: я вполнѣ, и въ самой сущности слова, человѣкъ благонамѣренный; я смиряюсь, хочу примѣниться къ обстоятельствамъ, хочу малаго, хочу достигнуть цѣли близкой, принести хотя ничтожную пользу. Нѣть! не удается! Что это значитъ? Что мѣшаетъ мнѣ жить и дѣйствовать, какъ другіе?.. Я только обѣ этомъ теперь и мечтаю. Но едва успѣваю я войти въ опредѣленное положеніе, остановиться на извѣстной точкѣ, судьба такъ и сопрѣтъ меня съ нея долой... Я сталъ бояться ея—моей судьбы...»

Этотъ мотивъ стремленія неудачника, «лишняго человѣка» къ примиренію съ жизнью встрѣчается уже въ «Дневникѣ лишняго человѣка». Герой послѣдняго Чулкатурина считалъ счастіемъ «найти пріютъ, свѣтъ себѣ хотя временное гнѣздо, узнать отраду ежедневныхъ отношеній и привычекъ».

Но у Рудина этотъ мотивъ противорѣчитъ всему тому, что онъ только что рассказалъ Лежневу. Онъ говоритъ, что когда-то, давно

онъ вѣрилъ въ призраки, а теперь хочетъ малаго, и тѣмъ не менѣе судьба всякой разъ сталкивала его съ занятой имъ точки. На самомъ дѣлѣ, ничего подобного нѣтъ въ передаваемыхъ самимъ Рудинымъ фактахъ своей жизни. Когда онъ поселился у богача-помѣщика, его «планы были громадные»; съ Курбѣевымъ Рудинъ стремился осуществить одинъ изъ тѣхъ «самыхъ смѣлыхъ, самыхъ неожиданныхъ» проектовъ, которые «такъ и кипѣли на умѣ» Курбѣева, и, сдѣлавъ судоходную рѣку, они надѣялись получить «огромныя выгоды»; въ гимназіи Рудинъ захотѣлъ «коренныхъ преобразованій». Такимъ образомъ, нигдѣ не видно это желаніе малаго, о которомъ говорить Рудинъ. Въ этомъ—противорѣчіе между словами Рудина и дѣйствительностью, но не противорѣчіе въ его характерѣ. Покаянныя слова героя о смиреніи и желаніи малаго, это—форма, имѣющая цѣлью внушить состраданіе къ нему, какъ къ вѣчно гонимому судбою страннику жизни. Рудинъ не въ первый разъ уже представляетъ себя въ такомъ свѣтѣ. Когда онъ жилъ у Ласунской и, по выраженію Лежнева, былъ у нея «великимъ визиремъ», въ разговорѣ съ Натальею онъ и тогда представлялъ себя безпріютнымъ скитальцемъ: «Мнѣ остается теперь тащиться по знойной и пыльной дорогѣ, со станціи до станціи, въ тряской телѣгѣ»,—такова его судьба! Въ письмѣ къ Натальѣ Рудинъ удивляется своей «странный, почти комической судьбѣ». Въ разговорѣ съ Лежневымъ судьба является уже трагическимъ началомъ: «Я сталъ бояться ея—моей судьбы», говоритъ Рудинъ. Слѣдовательно, изображеніе себя въ освѣщеніи, вызывающемъ сочувствіе,—одна изъ чертъ въ характерѣ героя, проходящая черезъ весь романъ. Эта черта—безусловно историческая. «Принявъ глубоко-tronутый видъ», Печоринъ также прибѣгааетъ къ возбужденію состраданія, разсказывая княжнѣ Мери о томъ, какъ онъ былъ готовъ любить міръ, но его никто не понялъ—и проч.

LIII. «Смерть должна примирить».—«Ты всегда былъ строгъ ко мнѣ,—говорить Рудинъ Лежневу,—и ты былъ справедливъ; но не до строгости теперь, когда уже все кончено, и масла въ лампадѣ нѣть, и сама лампада разбита, и вотъ-вотъ, сейчасъ докурится фитиль... Смерть, братъ, должна примирить наконецъ...»

Скабичевскій даетъ такую двойственную характеристику Рудина: «Если въ первой части онъ является передъ нами Гамлетомъ, то во второй части онъ Донъ-Кихотъ въ полномъ смыслѣ этого слова». Повидимому, образъ Донъ-Кихота дѣйствительно выплывалъ въ сознаніи Тургенева, когда онъ писалъ эпилогъ романа. Такъ, послѣднія слова: «Смерть, братъ, должна примирить наконецъ...»—очень напоминаютъ предсмертныя слова Донъ-Кихота, обращенные имъ къ друзьямъ: «Вздоръ—увы!—наполнилъ всю мою жизнь. Да, этотъ вздоръ былъ слишкомъ дѣйствителенъ, и дай Богъ, чтобы хоть смерть моя могла сколько-нибудь оправдать меня». («Донъ-Кихотъ», т. II, LXXIV).

LIV. «Наши дороги разошлись».—«Наши дороги разошлись,—говорятъ Лежневъ Рудину,—можетъ быть, именно оттого, что,

благодаря моему состоянію, холодной крови, да другимъ счастли-
вымъ обстоятельствамъ, ничто мнѣ не мѣшало сидѣть сиднемъ,
да оставаться зрителемъ, сложивъ руки; а ты долженъ былъ выйти
на поле, засучивъ рукава, работать. Наши дороги разошлись...
но посмотри, какъ мы близки другъ другу. Вѣдь мы говоримъ съ
тобой почти однимъ языкомъ, съ полунаемка понимаемъ другъ друга;
на однихъ чувствахъ выросли. Вѣдь ужъ мало наасъ остается,
брать; вѣдь мы съ тобой послѣдніе могикане! Мы могли расходиться,
даже враждовать въ старые годы, когда еще много жизни оста-
валось впереди; но теперь, когда толпа рѣдѣеть вокругъ насъ,
когда новая поколѣнія идутъ мимо насъ къ не нашимъ цѣлямъ,
намъ надобно крѣпко держаться другъ за друга».

Въ словахъ Лежнева нѣтъ достаточной опредѣленности. Съ
одной стороны, говоря Рудину, что ихъ дороги разошлись, онъ по-
нимаетъ это въ чисто личномъ бытовомъ значенія, объясняя смыслъ
своихъ словъ указаніемъ на свое богатство и бѣдность Рудина.
Съ другой стороны, указывая на то, что новая поколѣнія идутъ
мимо нихъ, къ не ихъ цѣлямъ, и что имъ надобно крѣпко держаться
другъ за друга, Лежневъ придаетъ словамъ: «наши дороги разо-
шлись» общій идеиній смыслъ. Въ романѣ эти слова и не могли
получить полной опредѣленности. Личный характеръ авторъ дол-
женъ быть придать имъ потому, что Лежневъ разошелся съ Руди-
нымъ по личнымъ причинамъ. Но Тургеневъ изображалъ не про-
сто характеры личности, а русское общество въ извѣстный пе-
ріодъ его развитія, — отсюда слова «наши дороги разошлись»
получаютъ общественный смыслъ. Националистическая тирада Леж-
нева даетъ художественное оправданіе этому. Не будь ея, читатель
совсѣмъ не могъ бы опредѣлить, было ли идеиное разногласіе между
Лежневымъ и Рудинымъ. Проповѣдь націонализма со стороны
Лежнева даетъ намекъ на такое разногласіе: Лежневъ былъ, оче-
видно, идеино ближе къ славянофильству, Рудинъ — къ западни-
честву, но оба они развивались на одиѣхъ и тѣхъ же идеяхъ и по-
тому близки другъ къ другу (см. XLVIII).

Къ словамъ Лежнева можно привести историческія параллели
во взаимныхъ отношеніяхъ славянофиловъ и западниковъ 40-хъ
годовъ.

«Въ 1844 году, — передаетъ Герценъ, — наши споры дошли до того,
что ни славяне, ни мы не хотѣли больше встрѣтиться». Особенно
непримиримымъ отношеніемъ къ славянофиламъ отличался Бѣ-
линскій: «Я, — писалъ онъ Герцену, — съ филистимлянами за однимъ
столомъ єсть не могу». Тѣмъ не менѣе, между западниками и славяно-
филами 40-хъ гг. чувствовалась тѣсная идеиная связь. А. И.
Герценъ писалъ по поводу смерти «передового бойца славяно-
фильства» К. С. Аксакова (ум. 1860 года): «Больно людямъ, любив-
шимъ ихъ (т.-е. К. С. Аксакова и А. С. Хомякова, умершаго въ
томъ же году), знать, что нѣтъ больше этихъ дѣятелей благородныхъ,
неутомимыхъ, что нѣтъ этихъ противниковъ, которые ближе намъ
были многихъ своихъ... Да, мы были противниками ихъ, но оченьъ

сторонами. У насъ была одна любовь, но неодинаковая. У нихъ и у насъ запало съ раннихъ лѣтъ одно сильное, безотчетное, физиологическое, странное чувство, которое они принимали за воспоминаніе, а мы за пророчества,—чувство безграничной, охватывающей все существованіе, любви къ русскому народу, къ русскому быту, къ русскому складу ума. И мы, какъ Янусъ, смотрѣли въ разныя стороны, въ то время какъ сердце билось одно».

Говоря о «своихъ», которые не такъ близки, какъ противники-славянофилы, Герценъ имѣть въ виду такихъ представителей русской общественной мысли, какъ Н. Г. Чернышевскій и Н. А. Добролюбовъ. Они были такими же прогрессистами, какъ и Герценъ, но между ними и имъ не могло быть душевной близости, такъ какъ они выросли и развились подъ вліяніемъ иныхъ культурныхъ традицій и въ иныхъ условіяхъ жизни, чѣмъ люди 40-хъ годовъ. Послѣдніе были преимущественно люди высшаго круга,—Чернышевскій и Добролюбовъ были разночинцы; люди 40-хъ годовъ воспитали свой умъ на романтизмѣ Шеллингѣ и Гегелѣ,—для людей 50-хъ годовъ увлеченіе ими было чуждо. Все это приводило къ большей нравственной близости такихъ людей, какъ Герценъ, Грановскій, Тургеневъ, къ Аксаковымъ, Самарину и другимъ славянофиламъ, чѣмъ къ Чернышевскому и Добролюбову.

Слова Лежнева о новыхъ поколѣніяхъ, идущихъ мимо, являются анахронизмомъ для романа, дѣйствіе котораго происходитъ въ 40-ые годы. Они могутъ быть понимаемы, какъ отраженіе того положенія вещей, которое было во времія написанія романа, т.-е въ серединѣ 50-хъ годовъ. Въ это времія, дѣйствительно, уже не было въ живыхъ нѣсколькихъ представителей 40-хъ годовъ: во времія написанія романа 4 октября 1855 года умеръ проф. Т. Н. Грановскій, въ 1848 году скончался Бѣлинскій, въ 1840 году—Станкевичъ. Въ 40-ые годы еще не было радикально настроенной молодежи, шедшей своею дорогою, которая въ 50-ые годы въ литературѣ была представлена Добролюбовыми и Чернышевскими.

LV. Мистическое значение странствованій Рудина.—Лежневъ говоритъ Рудину: «Каждый остается тѣмъ, чѣмъ сдѣлала его природа, и больше требовать отъ него нельзя! Ты называлъ себя Вѣчнымъ Жидомъ... А почему ты знаешь, можетъ-быть, тебѣ и слѣдуетъ такъ вѣчно странствовать, можетъ-быть, ты исполняешь этимъ высшее, для тебя самого неизвѣстное назначеніе: народная мудрость гласитъ не даромъ, что мы все подъ Богомъ ходимъ».

Несмотря на свой флегматический характеръ, Лежневъ способенъ иногда увлекаться, какъ это замѣчаетъ въ XII главѣ его жена Александра Павловна («Сознайся, что ты немногого увлекся въ пользу Рудина, какъ прежде увлекался противъ него»). Увлеченіе слышится и въ приведенныхъ словахъ, въ которыхъ Лежневъ придаетъ Рудину мистическое значеніе. На увлеченіе, прежде всего, указываютъ слова: «Ты называлъ себя Вѣчнымъ Жидомъ». Выше Рудинъ никогда себя такъ не называлъ: онъ говорить иначе: «Я ро-

дился перекати-полемъ, я не могу остановиться», но Лежневъ въ увлечениі приписываетъ Рудину собственныя мысли.

Толкованіе жизни Рудина, какъ выраженія высшаго, для него самого неизвѣстнаго назначенія, исторически вполнѣ возможно въ устахъ представителя интеллигентіи 40-хъ годовъ, бывшаго члена кружка Покорскаго-Станкевича, какимъ былъ Лежневъ. Провиденціальное пониманіе жизни, въ романтическо-философской окраскѣ, было свойственно, напр., самому Станкевичу: Въ письмѣ къ Я. М. Невѣрову 13 окт. 1833 года онъ говоритъ: «Много хранить для меня Провидѣніе; оно, я начинаю вѣровать, ведетъ меня...». 6 авг. 1835 г. Станкевичъ пишетъ ему же: «Я вѣрю въ особенный промыселъ, бдящій надъ жизнью каждого, кто хочетъ быть человѣкомъ, онъ подаетъ ему на это средства: иному счастіе, иному бѣдствіе». У западниковъ, впрочемъ, мистические и религіозные элементы мысли были незначительны, у нѣкоторыхъ же вовсе отсутствовали. Славянофильству, напротивъ, мистико-религіозныя идеи были близки. Лежнева, какъ указано выше, можно считать выразителемъ славянофильского умозрѣнія, и этимъ объясняется провиденціальный характеръ толкованія имъ жизни Рудина и ссылка на народную мудрость, которую идеализировали славянофилы.

Мистическое толкованіе Лежневымъ странствованій Рудина напоминаетъ подобное же объясненіе Гоголемъ героя «Мертвыхъ Душъ» Чичикова: «Есть страсти,—говоритъ авторъ,—которыхъ избранье не отъ человѣка. Уже родились онъ съ нимъ въ минуту рожденія его въ свѣтъ, и не дано ему силь отклониться отъ нихъ. Высшими начертаніями онъ ведутся, и есть въ нихъ что-то вѣчно зовущее, неумолкающее во всю жизнь. Земное великое поприще суждено совершить имъ, все равно, въ мрачномъ ли образѣ, или пронесшись скѣглымъ явленіемъ, возврадующимъ міръ,—одинаково вызваны онъ для невѣдомаго человѣкомъ блага. И, можетъ-быть, въ семъ же самомъ Чичиковѣ страсть, его влекущая, уже не отъ него, и въ холодномъ его существованіи заключено то, что потомъ повергнетъ въ прахъ и на колѣни человѣка предъ мудростью небесь» (т. I, глава XI).

LVI. «Національныя мастерскія».—Національныя мастерскія были учреждены времененнымъ республиканскимъ правительствомъ 25 Февраля 1848 года, посредствомъ которыхъ оно обязывалось обеспечить всякому рабочему трудовое существованіе. Но настоящихъ мастерскихъ, где бы рабочие могли находить приложеніе своимъ специальными ремесленными знаній и умѣній, не было организовано. Всѣ неимѣвшіе занятій рабочіе, а такихъ было множество, потому что революція 1848 года вызвала промышленный кризисъ, были привлечены къ землянымъ работамъ. Когда же онъ прекратились, рабочіе остались безъ дѣла. Ими и были подготовлены «юньскіе дни» 1848 года. Учрежденіе собраніе и, въ частности, министръ торговли Мари относились отрицательно къ «національнымъ мастерскимъ» и въ концѣ-концовъ рѣшили закрыть ихъ.

предлагая рабочимъ или поступить въ армію, или отправиться въ провинцію на земляные работы. Рабочие явились къ Мари съ выражениемъ протеста, но министръ заявилъ, что, если рабочие не отиравятся въ провинцію добровольно, ихъ принудять къ этому силою, послѣ чего началось восстание «національныхъ мастерскихъ». Инсургенты сосредоточились въ восточныхъ кварталахъ Парижа и забаррикадировались. Правительство направило противъ нихъ значительныя военные силы. Обѣ стороны сражались съ ожесточениемъ, такъ какъ національная гвардія была враждебно настроена къ рабочимъ-соціалистамъ. Главнымъ центромъ сопротивленія было Сентъ-Антуанское предмѣстье (въ романѣ—св. Антонія), которое осаждалось три дня, съ 24 по 26 юля. Рабочее движение было подавлено, и Учредительное Собраніе выработало конституцію 1848 года, въ духѣ демократической республики, провозгласившее принципы свободы, равенства и братства.

LVII. Смерть Рудина.—Въ письмѣ къ Натальѣ Ласунской Рудинъ писалъ: «Я кончу тѣмъ, что пожертвую собой за какой-нибудь вздоръ, въ который даже вѣрить не буду». Не оправдываетъ ли Тургеневъ эти слова героя обстоятельствами его смерти! Возстаніе «національныхъ мастерскихъ» было однимъ изъ эпизодовъ борьбы французскихъ партій за власть. Партия соціалистовъ боролась противъ Учредительного Собранія, въ которомъ она имѣло немногихъ представителей, хотя они и были выбраны всеобщею подачею голосовъ. Принимая участіе въ этомъ восстаніи, могъ ли Рудинъ искренно проникнуться интересами одной партіи и имѣть ли онъ основаніе быть враждебно настроеннымъ къ демократическому Учредительному Собранію? Интересы этой партіи никогда, конечно, не могли стать своими для Рудина, владѣвшаго до старости крѣпостными, хотя бы ихъ было, по его словамъ, «двѣ души съ половиною» и прожившаго всю сознательную жизнь въ сфере отвлеченныхъ идей Гегелевской философіи. Поэтому можно утверждать, что смерть Рудина логически связана съ приведенными словами изъ его письма къ Натальѣ и со словами, сказанными имъ Лежневу: «А кончу я скверно».

Въ критической литературѣ смерть Рудина вызвала различное отношение къ себѣ. Одни увидѣли въ ней доказательство беспочвенности героя и безцѣльности его нравственного направленія; другие, наоборотъ, нашли въ ней положительное проявленіе его личности. Съ отрицательной стороны посмотрѣлъ на этотъ вопросъ, напр., проф. Незеленовъ въ своей книжѣ «Тургеневъ въ его произведеніяхъ», съ положительной—Д. И. Писаревъ: «Рудинъ умираетъ великодушно»,—говорить онъ.

В. Буренинъ въ книжѣ «Литературная дѣятельность Тургенева» отмечаетъ историческую неправдоподобность смерти Рудина: «Сцена смерти Рудина невѣрна въ историческомъ отношеніи, потому что, сколько известно, никто изъ русскихъ идеалистовъ сороковыхъ годовъ, по крайней мѣрѣ, изъ идеалистовъ выдающихся, на баррикадахъ парижскихъ не погибалъ».

LVIII. *Рудинъ—«Polonais»—полякъ.*—То, что французские рабочие приняли Рудина за поляка, объясняется большимъ количествомъ польскихъ эмигрантовъ, жившихъ во Франціи. Въ 1832 году они основали въ Парижѣ польское демократическое общество, наполовину состоявшее изъ социалистовъ. Отсюда тѣсная связь польскихъ эмигрантовъ съ французскими социалистами, въ революціонныхъ выступленіяхъ которыхъ поляки принимали самое энергичное участіе.

LIX. *Изображенія природы въ романѣ «Рудинъ».*—Каждое изъ описаній природы, встречающееся въ романѣ, имѣть опредѣленный художественный смыслъ.

Въ русской литературѣ Тургеневъ является однимъ изъ лучшихъ живописцевъ природы. На эту сторону его творчества обращали вниманіе русскіе и иностранные критики. Финскій изслѣдователь Гуго Тауно Салоненъ посвятилъ Тургеневу, какъ поэту природы, цѣлую книгу: «Ландшафты И. С. Тургенева» (1915 г.). Живопись природы у Тургенева обладаетъ слѣдующими свойствами. Во-первыхъ, природа въ его изображеніяхъ представляется не въ видѣ неподвижной, застывшей картины. Тургеневъ всегда изображаетъ ее въ движѣніи; онъ «слушитъ», какъ она дышитъ, живетъ и творить» (Цабель). Во-вторыхъ, описанія природы у Тургенева отличаются «необыкновенно чуткимъ пониманіемъ вліяній, которыя она обнаруживаетъ на душу человѣка» (Арс. Введенскій).

Первое свойство можно видѣть во всѣхъ описаніяхъ природы въ «Рудинѣ». Въ описаніи лѣтняго утра, которымъ начинается романъ, рожь представлена «зыбкою», она «переливается то серебристо-зеленою, то красноватою рѣбью»; по ней бѣгутъ «съ мягкимъ шелестомъ длинныя волны». Въ описаніи ночи въ III главѣ деревья «дышать», ночь «нѣжится». Въ изображеніи утра въ VII главѣ трава «переливается» изумрудомъ и золотомъ; листья «прилипаютъ» другъ къ другу и т. д. Эта оживляющая природу точка зреїнія въ описаніи Авдюхина пруда переходитъ въ олицетвореніе: «Рѣдкіе сѣрые остовы громадныхъ деревьевъ высились какими-то унылыми призраками надъ низкой порослью кустовъ. Жутко было смотрѣть на нихъ: казалось, злые старики сошлись и замышляли что-то недобroe».

Второе свойство тургеневской живописи природы выясняется изъ художественного смысла отдельныхъ ея описаній въ «Рудинѣ».

Романъ начинается изображеніемъ тихаго лѣтняго утра. Это—манера многихъ писателей, въ томъ числѣ Тургенева, пользоваться пейзажемъ, какъ вступлениемъ въ произведеніе. Такъ, описаніемъ природы начинаются у Тургенева «Бѣжинъ лугъ», «Пѣвцы», «Дворянское гнѣздо», «Дымъ» и друг. Но описание утра въ началѣ «Рудина» имѣть еще другое художественное значеніе. Изображая блескъ росы, «душистую свѣжестъ», веселое пѣніе птицъ, разнообразныя краски ржи, авторъ создаетъ эффектъ контраста съ «тѣсною, душною и дымною» избою и умирающею въ ней старушкою. Этотъ контрастъ усиливаетъ впечатлѣніе неприглядности

крестьянского міра, которому далъе противополагается міръ барской усадьбы, съ ея чуждыми народу интересами.

Второе, очень короткое, описание—ночи (III глава), въ сценѣ, изображающей ораторское выступление Рудина въ салонѣ Ласунской. Онъ—артистъ и умѣеть выбирать для себя подходящія декораціи. Онъ становится у раскрытаго окна, въ которое смотрится лѣтняя ночь, съ «душистою мглою», съ «дремотною свѣжестью» деревьевъ, съ «тихо теплящимися» звѣздами. На такомъ фонѣ «музыка краснорѣчія» Рудина достигаетъ наивысшаго эффекта. Такимъ образомъ, данное описание ночи художественно связано съ цѣлями характеристики героя.

Описаніемъ утра начинается VII глава. Художественный смыслъ его въ заключительныхъ словахъ: отъ сада «вѣяло свѣжестью и тишиной, той кроткой и счастливой тишиной, на которую сердце человѣка отзывается сладкимъ томлениемъ сочувствія и неопредѣленныхъ желаній». Въ слѣдующей за описаніемъ сценѣ, въ разговорѣ съ Натальею, Рудинъ изображаетъ себя вѣчнымъ странникомъ, человѣкомъ, для котораго не можетъ быть уже личныхъ наслажденій, но остается блаженство дѣятельности, и Наталья проникается сочувствіемъ къ нему: «Развѣ женщина не въ состояніи оцѣнить такого человѣка?» Наконецъ Рудинъ признается въ своей любви къ Натальѣ, и она не скрываетъ своего чувства къ нему. Такъ проявляется «томленіе тайного сочувствія и неопредѣленныхъ желаній». Слѣдовательно, здѣсь природа является элементомъ дѣйствія романа, усиливающимъ настроение героевъ.

Такое же значеніе придается авторомъ природѣ въ изображеніи сцены вечерняго свиданія Рудина съ Натальею: «Кротокъ и тихъ былъ вечеръ; но сдержанній, страстный вздохъ чудился въ этой тишинѣ». Полнымъ соотвѣтствіемъ этому «сдержанному, страстному вздоху» природы является признаніе Натальи на вопросъ Рудина, любить ли она его: «Мнѣ кажется... да...—прощептала она».

IX глава, въ которой изображается поражающей героиню ударъ быстраго разочарованія въ Рудинѣ, начинается описаніемъ Авдюхина пруда. Описаніе этого «голаго, глухого и мрачнаго» мѣста, съ двумя огромными соснами, въ тощей зелени которыхъ «вѣтеръ вѣчно шумѣлъ и угрюмо гудѣлъ», съ оставами вымершаго лѣса, кажущимися «унылыми призраками», «злыми стариками», описание «невеселаго» утра, съ нависшими надъ землею «сплошными тучами», со свистомъ и визгомъ вѣтра—является своего рода увертоюю къ изображенію печального для герини послѣдняго свиданія съ Рудинымъ, разбившаго ея первую любовь.

Въ концѣ романа находится небольшое описание долгой осенней ночи. Осеннимъ пейзажемъ Тургеневъ пользуется, какъ параллелью грустнымъ настроеніямъ человѣка. Таково описание осени въ «Свиданіи» и въ «Нови»: въ ненастный осенний день, подъ заунывные звуки завывающаго вѣтра Неждановъ кончаетъ самоубійствомъ.

Бесѣда Лежнева и Рудина растрогала ихъ обоихъ. Состарѣвшійся, безпріютный Рудинъ уѣзжаетъ. «Вѣднякъ!» говорить вслѣдъ ему Лежневъ. Въ это время «на дворѣ поднялся вѣтеръ и завыль зловѣщимъ завывањемъ, тяжело и злобно удараясь въ звенище стекла. Наступила долгая осенняя ночь». Это описание должно усилить сочувственный тонъ по отношенію къ Рудину, которымъ проникнуть эпилогъ, и является художественнымъ подходомъ къ заключительному аккорду автора: «Да поможетъ Господь всѣмъ безпріютнымъ скитальцамъ!»

LX. *Взгляды на Рудина людей 40-хъ годовъ и представителей русской мысли 50—60-хъ годовъ.*—Типъ Рудина въ русской критикѣ находилъ какъ положительное, такъ и отрицательное освѣщеніе.

Критики, современные эпохѣ Рудиныхъ, переживавшіе тѣ же увлеченія, что и Тургеневскій герой, не могли отрѣшиться отъ симпатій къ его личности, которая такъ была знакома имъ по собственному опыту, и потому находили въ Рудинѣ гораздо болѣе положительныхъ, чѣмъ отрицательныхъ чертъ.

Одинъ изъ первыхъ критиковъ «Рудина» Ал—дръ Вас. Дружининъ (1825—1864 г.) говорить о значеніи Рудиныхъ для своего поколѣнія («Соч. Дружинина», т. VII): «Многіе изъ насъ въ юности увлекались Рудиномъ, многіе изъ насъ, въ былое время молодости, слушали рудинскія импровизаціи такъ, какъ студентъ Басистовъ слушалъ вдохновленныя разсужденія Дмитрия Николаевича».

Эти слова являются ключомъ разумѣнія, почему Дружининъ призналъ за Рудиномъ выдающееся общественное значеніе: «Рудины, — говорить онъ, — были не бесполезны обществу въ свое время, можетъ-быть, они нужны ему и теперь, — во всякомъ случаѣ никто не имѣетъ права кидать камнемъ въ этихъ вѣчныхъ странниковъ жизни, безпріютныхъ «инвалидовъ мысли»... Рудинъ — «застрѣльщикъ между двумя арміями»; онъ «долженъ называться человѣкомъ просвѣщеннымъ: сердце его, смягченное знаніемъ, благородная жажда идеала словно родились съ нимъ вмѣстѣ. По уму и душѣ онъ опередилъ многихъ просвѣщенныхъ людей одного съ нимъ края...» Въ Рудинѣ Дружининъ видитъ «огонь любви къ истинѣ, въ немъ горѣвшій, неутомимое стремленіе къ идеалу, сочувствіе къ слабымъ, вражду къ житейской неправдѣ... Онъ «много служилъ дѣлу доброго слова».

Все это положительные черты Рудина. Но критикъ признаетъ въ немъ и отрицательные стороны: Рудинъ «всю жизнь свою не могъ возвыситься до пониманія дѣла, до возможной и необходимой гармоніи съ средой, его окружающей. Въ разъединеніи дѣла и слова лежитъ корень всѣхъ недостатковъ Рудина, — основаніе всей его грустной, но близкой къ намъ личности»... Хотя онъ человѣкъ просвѣщенный, но «остановился посреди блестящаго пути, не умѣя воспользоваться сокровищами, только что добытыми».

«Причина такого бездѣйствія, — продолжаетъ Дружининъ, — разрѣшившагося полнымъ безсиліемъ передъ практическою жизнью, заключается въ отсутствіи воли, въ неспособности къ правильному

воспринятію началъ истиннаго просвѣщенія. Можно до глубины существа нашего проштаться добрымъ словомъ,—и, при всемъ томъ, оказаться дѣтски-слабымъ въ тѣ минуты, когда представить необходимость сдѣлать дѣло изъ доброго слова. Человѣкъ просвѣщается тѣмъ же путемъ, какъ и общество, какъ и государство. Человѣкъ, просвѣщающій себя, долженъ быть для своего нравственнаго міра въ иѣкоторомъ смыслѣ тѣмъ же, чѣмъ былъ великий преобразователь Россіи, государь Петръ Великій,—для края. Подобно тому какъ нашъ великий просвѣтитель, усилиями могучей воли, вводилъ великія идеи, имъ добытыя, въ жизнь и бытъ Россіи, всякой честный и слабый человѣкъ, обогащаясь сокровищами мудрости, обязанъ, во что бы то ни стало, сроднить эти сокровища съ своей жизнью, примѣнить ихъ къ средствамъ и потребностямъ среды, его окружающей. Мало одной горячей любви къ правдѣ,—надо проводить эту правду въ всей жизни нашей. Мало проводить правду съ упорствомъ и необузданной горячностью,—надо быть мудрымъ, практическимъ, своевременнымъ въ ея примѣненіи. Одного идеала мало для просвѣщенія, съ одной благородной горячкою ничего не сдѣлаешь, съ однимъ краснорѣчивымъ словомъ не уйдешь далеко. Необходимо просвѣщенному дѣятелю жизни коротко знать всѣ средства той среды, гдѣ ему судьбой назначено жить». Но Рудинымъ, говоритъ далѣе Дружининъ,—«самое по-прище боя было совершенно незнакомо».

Говоря объ этихъ нравственныхъ недостаткахъ героя романа, Дружининъ относить ихъ происхожденіе ко вліянію исторической эпохи, въ которую жилъ Рудинъ: онъ «есть живой плодъ нашего ранняго, быстро развивающагося, порывистаго просвѣщенія».

Дружининъ, конечно, нѣсколько сгущаетъ краски, рисуя идеализмъ Рудина. Онъ говорить, напр., объ его «враждѣ къ житейской неправдѣ». Это можно сказать о другомъ герое Тургенева, но человѣкъ совсѣмъ иной складки—Бабуринъ (*«Пунинъ и Бабуринъ»*), съ представленіемъ же о Рудинѣ слова Дружинина мало вѣжутся. Однако, въ общемъ, тонъ критики Дружинина объективный.

Иначе относится къ типу Рудина другой писатель, Мих. Вас. Авдѣевъ (1821—1876 г.), принадлежащий къ школѣ беллетристовъ 40-хъ годовъ. Его оцѣнка владаетъ въ слишкомъ субъективное истолкованіе Тургеневскаго героя и лишена какого-либо критицизма.

«Совершенно несправедливо,—говорить онъ,—установившееся воззрѣніе, что Рудины и всѣ люди сороковыхъ годовъ были способны только къ разговорамъ, а не къ дѣлу. Напротивъ, тамъ, гдѣ для этихъ людей была открыта возможность общественной дѣятельности, они немедленно воспользовались ею и явились способѣйшими тружениками. Такъ, крестьянское дѣло выработано и вынесено ими на своихъ плечахъ; и если потомъ обстоятельства вновь такъ сложились, что ихъ участіе въ общественныхъ дѣлахъ опять найдено излишнимъ, то ихъ бездѣйствіе уже не можетъ быть имъ поставлено въ вину».

Эти слова имѣютъ автобиографический смыслъ. Авдѣевъ принималъ ближайшее участіе въ крестьянской реформѣ, состоя членомъ присутствія по крестьянскимъ дѣламъ, но въ 1863 году онъ принужденъ былъ удалиться за границу, гдѣ прожилъ значительное время. Такимъ образомъ, авторъ отождествляетъ себя, какъ представителя общества, съ типомъ Рудина, въ чемъ и состоитъ субъективность его общественного истолкованія.

Послѣ этого понятна основа того, что Авдѣевъ говоритъ о Рудинѣ: «Рудинъ не былъ пустословомъ, но былъ положительнымъ дѣятелемъ. Тамъ, гдѣ слово выходитъ изъ обыкновенной колеи и возвышается до краснорѣчія, до силы подмывающей, двигающей, не дающей покоя,—тамъ рѣчь становится дѣломъ, говорунъ обращается въ проповѣдника... Рудинъ не ограничивался одними словами. Когда онъ видитъ, что эти слова не приносятъ пользы, онъ хватается за всякое дѣло... Конецъ Рудина показываетъ, что Рудинъ не принадлежалъ къ числу людей слова, онъ умираетъ, убитый на парижской баррикадѣ, сражаясь за свободу чуждаго ему народа. Теперь спросимъ мы читателя: такъ ли умираютъ люди слова, люди, не имѣющіе воли и твердости, чтобы пожертвовать собою своему дѣлу?.. Рудинъ былъ человѣкъ, цѣлой головой выходящій изъ ряда: онъ первый между героями является намъ не какъ страдательное лицо, не какъ забитый и изломанный человѣкъ, а какъ истинный и положительный двигатель, погибающій—какъ водится—впослѣдствіи. Да, Рудинъ первый между героями литературы—общественный дѣятель».

Того, что видѣли въ Рудинѣ люди 40-хъ годовъ, не могли видѣть представители послѣдующихъ поколѣній русской интеллигенціи. Примѣромъ отношенія людей 50-хъ годовъ къ Рудинскому типу является Н. А. Добролюбовъ. Въ знаменитой статьѣ «Что такое обломовщина?» критикъ подводитъ подъ одинъ знаменатель такихъ героевъ, какъ Онѣгинъ, Печоринъ, Бельтовъ («Кто виноватъ» Герцена), Тентѣтниковъ, Обломовъ и Рудинъ: «Надъ всеми этими лицами тяготѣтъ одна и та же обломовщина, которая кладетъ на нихъ неизгладимую печать бездѣльничества, дармоѣдства и совершенной ненужности на свѣтѣ».

Добролюбовъ доказываетъ свою мысль фактами, напр.:

Онѣгинъ дома заперся,
Зѣвая, за перо взялся,
Хотѣлъ писать, но трудъ упорный
Ему былъ тошнѣ; ничего
Не вышло изъ пера его...

На этомъ же поприщѣ подвизался и Рудинъ, который любилъ читать избраннымъ «первые страницы предполагаемыхъ статей и сочиненій» своихъ («Рудинъ», гл. VI). Тентѣтниковъ тоже много лѣтъ занимался «колossalнымъ сочиненіемъ», долженствовавшимъ обнять всю Россію со всѣхъ точекъ зѣнія; но и у него «предпріятіе больше ограничивалось однимъ обдумываніемъ; изгрызалось перо,

явились на бумагѣ рисунки, и потомъ все это отодвигалось въ сторону». Илья Ильичъ не отсталъ въ этомъ отъ своихъ собратій: онъ тоже писалъ и переводилъ,—Сэя даже переводилъ. «Гдѣ же твои работы, твои переводы?»—спрашиваетъ его потомъ Штолыцъ.—«Не знаю, Захаръ куда-то дѣлъ; въ углу, должно-быть, лежать», отвѣчалъ Обломовъ. Выходить, что Илья Ильичъ даже больше, можетъ-быть, сдѣлалъ, чѣмъ другіе, привившіеся за дѣло съ такой же твердой рѣшимостью, какъ и онъ»...

«Всѣ наши герои, кромѣ Оаѣгина и Печорина ¹⁾, служатъ, и для всѣхъ ихъ служба—ненужное и неимѣющее смысла бремя; и всѣ они оканчиваютъ благородной и ранней отставкой. Бельтовъ четырнадцать лѣтъ и шесть мѣсяцевъ не дослужилъ до пряжки, потому что, погорячившись сначала, вскорѣ охладѣлъ къ канцелярскому занятію, сталъ раздражителенъ и небреженъ... Тентѣтниковъ поговорилъ крупно съ начальствомъ, да при томъ же хотѣлъ принести пользу государству, лично занявшись устройствомъ своего имѣнія. Рудинъ поссорился съ директоромъ гимназіи, гдѣ былъ учителемъ. Обломову не понравилось, что съ начальствомъ всѣ говорятъ «не своимъ голосомъ, а какимъ-то другимъ, тоненькимъ и гадкимъ»; онъ не хотѣлъ этимъ голосомъ объясняться съ начальствомъ по тому поводу, что «отправилъ нужную бумагу вмѣсто Астрахани въ Архангельскъ», и подалъ въ отставку... Вездѣ все одна и та же обломовщина...»

Отдѣльно отъ другихъ литературныхъ героеvъ, Добролюбовъ такъ характеризуетъ Рудина: «Онъ не только понимаетъ, что ему дано много силъ, но знаетъ и то, что у него есть великая цѣль... Подозрѣваетъ, кажется, даже и то, какая это цѣль, и гдѣ она находится. Онъ благороденъ, честенъ (хотя часто и не платить долговъ); съ жаромъ разсуждаетъ не о пустякахъ, а о высшихъ вопросахъ; увѣряетъ, что готовъ пожертвовать собою для блага человѣчества. Въ головѣ его рѣшены всѣ вопросы, все приведено въ живую, стройную связь; онъ увлекаетъ своимъ могучимъ словомъ неопытныхъ юношей, такъ что, послушавъ его, и они чувствуютъ, что призваны къ чему-то великому... Но въ чёмъ проходитъ его жизнь? Въ томъ, что онъ все начинаетъ и не оканчиваетъ, разбрасываясь во всѣ стороны, всему отдается съ жадностью и—не можетъ отдаваться... Онъ влюбляется въ дѣвушку, которая, наконецъ, говоритъ ему, что, несмотря на запрещеніе матери, она готова принадлежать ему; а онъ отвѣчаетъ: «Боже! такъ ваша маменька не согласна! какой внезапный ударъ! Боже! какъ скоро... Дѣлать нечего,—надо покориться»... И въ этомъ точный образецъ всей его жизни... Это—Обломовъ. Когда вы хорошенъко всмотритесь въ эту личность и поставите ее лицомъ къ лицу съ требованіями современной жизни,—вы сами въ этомъ убѣдитесь».

¹⁾ Здесь или недосмотръ Добролюбова или неясность мысли: вѣдь Печоринъ былъ офицеръ.

Наконецъ, Добролюбовъ даже признаетъ, что «Обломовъ ме-
няе раздражаетъ свѣжаго, молодого, дѣятельного человѣка, не-
жели Печоринъ и Рудинъ».

Статья Добролюбова не имѣеть характера исключительно критического разбора ряда литературныхъ героевъ,—эта статья публицистическая и была направлена противъ людей 40-хъ годовъ, которые продолжали свою дѣятельность и въ 50-ые годы, какъ Тургеневъ и Герценъ. Выше (LIV) было указано расхождение этихъ двухъ общественныхъ поколѣній, «отцовъ и дѣтей». «Дѣти» считали «отцовъ» романтиками и аристократами, барами; «отцы» не любили «дѣтей» за ихъ рѣзкость и самомнѣніе. Однажды Тургеневъ сказалъ Чернышевскому: «Васъ я еще могу переносить, но Добролюбова не могу... Вы—простая змѣя, а Добролюбовъ—очкивая змѣя». Герценъ направилъ противъ нихъ двѣ статьи въ «Колоколѣ». Одна изъ нихъ, подъ названіемъ по-англійски «Very dangerous!!!» («Очень опасно») нападала на «дѣтей» за постоянное высмеиваніе въ «Свисткѣ», приложеніи къ журналу «Современникъ», обличительной литературы, къ которой относился и лондонскій «Колоколь», Герцена; другая, подъ названіемъ «Лишніе люди и желчевики», изображала столкновеніе двухъ поколѣній: лишнихъ людей 30—40-хъ годовъ и желчевиковъ, людей 50-хъ годовъ. Отношеніе послѣднихъ къ первымъ выражено здѣсь въ слѣдующемъ діалогѣ между Герценомъ и однимъ изъ желчевиковъ, подъ которымъ некоторые изслѣдователи разумѣютъ Чернышевскаго,ѣздившаго въ Лондонъ объясняться съ Герценомъ по поводу статьи «Очень опасно».

« — Что вы заступаетесь за этихъ лѣнтяевъ,—говорилъ намъ одинъ желчевикъ,—дармоѣдовъ, трутней, бѣлоручекъ, тунеядцевъ, а la Онѣгінъ?.. Извольте видѣть, они образовались иначе, міръ, ихъ окружающій, имъ слишкомъ грязенъ, недовольно натерть воскомъ, замараютъ руки, замараютъ ноги. То ли дѣло стонать о несчастномъ положеніи и при томъ смокойно Ѣсть да пить.

— Неужели вы въ самомъ дѣлѣ думаете, что эти люди по доброй волѣ ничего не дѣлали или дѣлали вздоръ?

— Безъ всякаго сомнѣнія, они были романтики и аристократы, они ненавидѣли работу, себя считали бы униженными, взявшиіи за топоръ или за шило, да и того, правда, они не умѣли».

Такая точка зрѣнія на людей 30—40-хъ годовъ и отразилась въ пониманіи Добролюбовыми Рудина.

Въ 60-ые годы взаимное непониманіе «отцовъ» и «дѣтей» было усилено глубокимъ различіемъ въ самомъ міросозерцаніи двухъ общественныхъ поколѣній. Люди 40-хъ годовъ жили идеями романтика Шеллинга и отвлеченною философіею Гегеля, трактовавшихъ о духѣ и его жизни. Въ 50-ые и особенно 60-ые годы источникъ идеинаго возбужденія среди мыслящей части русскаго общества былъ, правда, тотъ же германскій, но совершенно иного характера. «Нѣмцы—наши учителя», говорить герой «Отцовъ и

дѣтей» Базаровъ, по среди этихъ учителей уже не числится ни Шеллингъ, ни Гегель.

Въ 40-ые годы въ самой Германіи идеалистическое направление мысли, выражавшееся въ системахъ этихъ философовъ, стало уступать свое мѣсто опытному направлению науки и материалистическому возврѣнію на природу. Если Шеллингъ и Гегель представляли міръ, какъ проявление идеи, Мирового Разума, духа, то Александръ Гумбольдтъ въ своемъ «Космосѣ» трактуетъ природу, какъ нѣчто оживляемое и движимое внутренними силами матеріи. Появляется цѣлый рядъ крайнихъ материалистовъ-ученыхъ, какъ Либихъ, Молешоттъ, Фохтъ, Бюхнеръ, Фейербахъ и другіе, стремившіеся всѣ явленія живой природы свести къ тѣмъ же процессамъ, какіе существуютъ въ неорганическомъ мірѣ.

Это материалистическое міросозерцаніе въ серединѣ 50-хъ и въ 60-ые годы прививается въ Россіи, отражениемъ чего въ русской литературѣ и является Базаровъ, который смеется надъ «отцами», людьми 40-хъ годовъ, называя ихъ «старенькими романтиками», считаетъ романтизмомъ философию вообще, отрицаетъ даже логику и поэзію, заявляя, что «порядочный химикъ въ двадцать разъ полезнѣе всякаго поэта». Вотъ тотъ кругъ идей, въ которомъ жилъ первый критикъ 60-хъ годовъ, Д. И. Писаревъ, и который былъ такъ далекъ отъ идеалистического міровоззрѣнія Рудина. Все это надо имѣть въ виду при оцѣнкѣ взгляда Писарева на послѣдняго.

«Поколѣніе Рудинихъ,—говорить онъ,—гегельянцы, заботившіеся только о томъ, чтобы въ ихъ идеяхъ господствовала систематичность, а въ ихъ фразахъ—замысловатая таинственность, мирили насъ съ нелѣпостями жизни, оправдывая ихъ разными высшими взглядами, и, всю свою жизнь толкуя о стремлѣніяхъ, не трогались съ мѣста и не умѣли измѣнить къ лучшему даже особенности своего домашняго быта. Развѣнчать этотъ типъ было такъ же необходимо, какъ необходимо было Сервантесу похоронить своимъ Донъ-Кихотомъ рыцарскіе романы, какъ одно изъ послѣднихъ наслѣдій средневѣковой жизни. Типъ красаваго фразера, совершенно чисто-сердечно увлекающагося потокомъ своего краснорѣчія, типъ человѣка, для которого слово замѣняетъ дѣло и который, живя однимъ воображеніемъ, прозябаетъ въ дѣйствительной жизни, совершиенно развѣнчаны Тургеневымъ. Люди этого типа совершенно не виноваты въ томъ, что они люди бесполезные; но они вредны тѣмъ, что увлекаютъ своими фразами тѣ неопытныя созданія, которые прельщаются ихъ внѣшнею эффектностью; увлекши ихъ, они не удовлетворяютъ ихъ требованіямъ; усиливъ въ нихъ чувствительность, способность страдать, они ничѣмъ не облегчаютъ ихъ страданія,—словомъ, это болотные огоньки, заводящіе ихъ въ трущобы и погасающіе тогда, когда несчастному путнику необходимъ свѣтъ, чтобы разглядѣть свое затруднительное положеніе. Тургеневъ исчерпалъ этотъ типъ въ Рудинѣ. На словахъ эти люди, подобные Рудину, способны на подвиги, на жертвы, на героизмъ, такъ, по крайней мѣрѣ, подумаетъ каждый обыкновенный смертный,

слушая ихъ разглагольствованія о человѣкѣ, о гражданинѣ и другихъ тому подобныхъ отвлеченныхъ и высокихъ предметахъ. На дѣлѣ эти дряблыя существа, постоянно испаряющіяся на фразы, неспособны ни на рѣшительный шагъ, ни на усидчивый трудъ».

LXI. Двойственное отношение Тургенева къ Рудину.—Аполлонъ Григорьевъ первый изъ критиковъ обратилъ вниманіе на художественную двойственность романа «Рудинъ»: «Въ этой повѣсти,—говорить онъ,—совершается передъ глазами читателей явленіе совершенно особенное. Художникъ, начавши критическимъ отношеніемъ къ создаваемому имъ лицу, видимо, путается въ этомъ критическомъ отношеніи, самъ не знаетъ, что ему дѣлать съ своимъ анатомическимъ ножомъ, и наконецъ, увлеченный порывомъ искренняго старого сочувствія, снова возводить въ апoteозу въ эпилогѣ то, къ чему онъ пытался отнестиъ критически въ разсказѣ. И нельзя даже подумать, чтобы критика была новымъ подходомъ къ апoteозѣ,—такъ быстро и прямо совершается передъ глазами читателя поворотъ, такъ послѣ прочтенія эпилога становится ясно, что все, кромѣ эпилога, да той минуты, когда Рудинъ, стоящій вечеромъ у окна и заключающей свою бесѣду, свою проповѣдь легендою о скандинавскомъ царѣ, напоминаетъ манеры, приемы и цѣлый образъ одного изъ любимѣйшихъ людей нашего поколѣнія,—что, кромѣ этого, говорю я, все остальное сдѣлано, а не рожено, сдѣлано искусственно, хоть и не совсѣмъ искусно, вымучено у души насильственно... Тутъ, однимъ словомъ, обнаруживается въ отношеніяхъ художника къ создаваемому имъ типу, да вмѣстѣ съ тѣмъ и для многихъ изъ насъ, кто подобросовѣстнѣе,—замѣчательная путаница» (соч. I, 322).

Такимъ образомъ, Ап. Григорьевъ признаетъ, во-первыхъ, что авторъ проявляеть неодинаковое отношеніе къ своему герою во всемъ романѣ; во-вторыхъ, что между романомъ и эпилогомъ нѣть художественной связи и единства; и, въ-третьихъ, что эпилогъ вытекаетъ изъ «искренняго старого сочувствія» автора къ «одному изъ любимѣйшихъ людей его поколѣнія», все же остальное «сдѣлано искусственно», т.-е. критическое отношеніе Тургенева къ Рудину надумано, идетъ отъ ума, а не сердца.

Далѣе на художественную двойственность романа указалъ А. М. Скабичевскій: «Трудно,—говорить онъ,—встрѣтить въ какомъ-либо другомъ произведеніи литературы характеръ до такой степени невыдержаннаго, противорѣчащаго самому себѣ, какъ Рудинъ въ повѣсти Тургенева... Если въ первой части онъ является передъ нами Гамлетомъ, то во второй части онъ Донъ-Кихотъ въполномъ смыслѣ этого слова (я здѣсь сообразуюсь съ характеристикою этихъ обоихъ типовъ, представленныхъ Тургеневымъ въ статьѣ «Гамлетъ и Донъ-Кихотъ»)».

Наконецъ на вопросъ о двойственности романа подробно останавливается И. И. Ивановъ въ книгѣ «И. С. Тургеневъ. Жизнь, личность, творчество».

Въ первомъ изданіи этой книги Ивановъ говоритъ: «Смыслъ первого тургеневскаго романа несравненно болѣе автобиографической, чѣмъ историко-общественный. И именно этотъ смыслъ возвышаетъ значеніе романа и бросаетъ вѣрный свѣтъ на нравственную природу художника и его дальнѣйшій путь развитія. Рудинъ послужилъ духовнымъ самоочищеніемъ для автора. Тургеневу необходимо было освободиться отъ юношескихъ ослѣпленій, отъ праздной игры тщеславнаго воображенія, чтобы вполнѣ сознательно отнести къ окружающей дѣйствительности и сказать и прочное слово, и столь для него желанное, и жадно искомое. Но авторъ не могъ остановиться на одномъ отрицаніи, не могъ оставить себя и читателей среди поля, покрытаго осмѣянными фразами и позами, оборванной, потускнѣвшей мишурой Воспоминанія молодости вообще дороги и близки сердцу, но они еще дороже, когда съ ними соединяется представлѣніе о былыхъ успѣхахъ, о быломъ блескѣ, безотчетномъ героизмѣ—все-равно дѣйствительномъ или театральномъ. Всѣ поэты, развѣнчивая молодыя заблужденія, хранять въ сердцѣ какое-то иѣжное чувство къ своимъ героямъ, похожее на чувство отца къ легкомысленному сыну».

Такимъ образомъ, критикъ признаетъ, во-первыхъ, что отрицательное отношеніе автора къ Рудину въ первой части романа явилось слѣдствиемъ стремленія Тургенева къ «духовному самоочищенію отъ юношескихъ ослѣпленій»; положительное же освѣщеніе героя во второй части—результатомъ дорогихъ воспоминаній молодости, т.-е. того «искренняго стараго сочувствія», о которомъ говорить Ап. Григорьевъ.

Во второмъ изданіи той же книги И. И. Ивановъ представляетъ дѣло иначе.

«Тургеневу предстояла задача изобразить существо разнородное, двуликое и надломленное, одновременно и смѣшное и трагическое, жалкое и героическое, пошлое и благородное, носящее въ себѣ смерть и сѣмена новой жизни». Всѣ отрицательныя свойства Тургеневъ изобразилъ въ первой части романа, которая вышла «живой, свободной и драматической»... «Но вторая часть... Ее написать было необходимо,—иначе осталось бы одностороннее несправедливое обличеніе сложнаго и отнюдь не сплошь отрицательнаго явленія. Но какъ изобразить положительныя стороны рудинской личности? Въ какой дѣятельности? Ни сами Рудины не обладали дѣятельными способностями, ни русская жизнь не представляла возможностей дѣйствовать... Тургеневу приходилось *придумать* положенія, по возможности соответствующія русской жизни и показать Рудина безупречнымъ рыцаремъ чести и правды и безпомощной жертвой житейской пошлости».

«Сначала Рудина «возстановляютъ» на словахъ: «минуло около двухъ лѣтъ»,—и Лежневъ—его искренній другъ, даже поклонникъ, наравнѣ съ Басистовымъ. Теперь онъ все оправдываетъ и все объясняетъ. Но какъ же, спросите вы, можно оправдать поступки,

рассказанные раньше тѣмъ же Лежневымъ и ясно доказывавшіе, что Рудинъ, тридцатипятилѣтній Рудинъ—почти невѣжъ, недобросовѣстный фразеръ, сомнительный въ своихъ отношеніяхъ къ друзьямъ и женщинамъ? Ни одинъ изъ этихъ поступковъ и не опровергается, а другихъ Лежневъ не знаетъ: онъ не видѣлъ Рудина послѣ романа съ Натальей. Неужели только чувство ревности, при томъ далеко неясное и въ глазахъ самого Лежнева врядъ ли основательное, можетъ до такой степени сбить съ толку необыкновенно уравновѣспенного и разсудительного человѣка? Кромѣ того, надо помнить, Лежневъ порвалъ съ Рудинымъ задолго до романа и встрѣчается съ нимъ крайне непривѣтливо: очевидно, причины разрыва были весьма внушительны и вполнѣ соотвѣтствовали рассказамъ Лежнева о Рудинѣ. Куда же все это исчезло безъ всякаго участія со стороны Рудина, и даже послѣ его послѣднихъ далеко непохвальныхъ приключеній? Только что мы слышали суровый приговоръ герою и видѣли на дѣлѣ, насколько этотъ приговоръ справедливъ,—и вдругъ оправданіе по всемъ статьямъ и даже признаніе великой пользы отъ его краснорѣчія, хотя именно оно и заставило Лежнева презирать Рудина задолго до побѣдъ оратора надъ Натальей и Басистовымъ!..»

«Очевидно, логическое объясненіе здѣсь непримѣнимо. Автору нужно создать у читателей новое представленіе о своемъ герой, и сначала тѣсть Лежнева, его безпощаднаго судьи, а потомъ—для картина подтвержденія—появленіе самого Рудина. Въ первой части Рудинъ дѣйствовалъ соотвѣтственно отзывамъ Лежнева, во второй части его дѣйствія другія, другія и рѣчи Лежнева».

Въ первой и второй частяхъ романа «чувства и мысли (Рудина) до такой степени различны, что передъ нами будто два лица и два романа. Въ одномъ лицѣ безпощадно разоблачены пышная рѣчи и лицедѣйская удалъ, прикрывающія слабость воли и роковую разыщатость натуры, на другомъ лицѣ почили всепрощеніе, глубокая жалость и даже уваженіе».

Для объясненія этого И. И. Ивановъ выходитъ изъ рамокъ личности Тургенева и становится на широкій путь толкованія общихъ свойствъ русской интеллигенціи:

«Кто изъ русскихъ—не сороковыхъ годовъ—а какого бы ни было поколѣнія бросить камень въ Рудина? Да это значитъ посягнуть на самаго отечественнаго, на самаго кровнаго своего собрата, на самое туземное и устойчивое произведеніе русской почвы. Кто не былъ Рудинымъ самъ или кто не встрѣчалъ его въ жизни? То, что принято именовать русскій интеллигентъ, и есть Рудинъ—до сихъ поръ все возрождающійся подъ разными именами, съ кое-какими добавочными чертами,—но по существу все тотъ же единый и вѣчный. Геніальность есть, натуры нѣть—вотъ знамя, все еще вѣюшее надъ русскими поколѣніями; и кто скажетъ, въ какомъ десятилѣтіи, въ какомъ вѣкѣ рука исторіи сотретъ эту надпись и поставить другую: геніальность и натура—и тогда исчезнутъ всевозможныя породы лишнихъ, разбитыхъ

(людей), — и тогда художникамъ и вслѣдъ за ними историкамъ не придется въ своихъ описаніяхъ и воспоминаніяхъ смѣяться смѣхомъ сквозь слезы и плакать слезами сквозь улыбку надежды. Съ такимъ чувствомъ Тургеневъ писалъ свой романъ».

Такимъ образомъ, проф. Ивановъ объясняетъ художественную двойственность романа не личною психологіею Тургенева, какъ объяснялъ Ап. Григорьевъ, и самъ онъ въ первомъ изданіи своей книги, а тою психологіею автора «Рудина», которая присуща ему, какъ русскому интеллигенту.

Въ вопросѣ о художественной двойственности романа «Рудинъ» заключается два вопроса. Первый: представляетъ ли Рудинъ романа и Рудинъ эпилога «будто два лица», какъ говорить И. И. Ивановъ, или Гамлета и Донъ-Кихота, какъ говорить Скабичевскій? — И второй вопросъ: не зависить ли художественная двойственность романа отъ различного отношенія къ герою самого автора?

Первый вопросъ долженъ быть решенъ отрицательно не на основаніи общаго впечатлѣнія, которое производитъ эпилогъ тономъ, какимъ онъ написанъ, а на основаніи самыхъ фактовъ.

Что образъ Донъ-Кихота носился въ творческой фантазіи Тургенева, когда онъ писалъ вторую половину романа, это доказывается сопоставленіями словъ Рудина и Донъ-Кихота, указанными выше (XLIII и LIII). Но такъ какъ типъ Рудина есть индуктивный художественный образъ, т.-е. является результатомъ наблюдений автора, а не литературной начитанности, то Донъ-Кихотъ не въ состояніи былъ повліять на этотъ сложившійся въ творческомъ сознаніи Тургенева образъ. Если сравнить Рудина эпилога съ тѣмъ, какъ понималъ Тургеневъ Донъ-Кихота въ своей рѣчи, на которую ссылается Скабичевскій, то между ними нѣтъ ничего общаго. Изъ сообщаемыхъ Рудинымъ трехъ эпизодовъ своей жизни первый разсказанъ въ такихъ общихъ выраженіяхъ, что никакихъ фактовъ для характеристики героя, какъ Донъ-Кихота, не почерпаешь изъ него. Читатель узнаетъ только, что планы у Рудина были громадные, что онъ мечталъ о разныхъ усовершенствованіяхъ, нововведеніяхъ, но въ чёмъ эти планы заключались, не знаемъ. Рудинъ думалъ, пользуясь средствами своего богатаго знакомаго, приносить пользу существенную и дѣлать добро, но ни о какихъ попыткахъ къ этому дальше ничего не говорится. Поэтому изъ разсужденія о Рудинѣ эпилога первый эпизодъ приходится совершенно исключить.

Второй эпизодъ какъ будто имѣеть въ себѣ что-то Донъ-Кихотское, но, когда Рудинъ разсказываетъ о проектѣ Курбѣва, онъ не забываетъ упомянуть, что этотъ проектъ «могъ бы принести огромные выгоды». Такія практическія соображенія совершенно не мыслимы въ представлениі о Донъ-Кихотѣ: «въ немъ нѣтъ и слѣда эгоизма, говорить о немъ Тургеневъ, онъ не заботится о себѣ, онъ весь самопожертвованіе».

«Смиренный сердцемъ, онъ духомъ великъ и смѣлъ; чуждый тщеславія, онъ не сомнѣвается въ себѣ, въ своемъ призваніи, даже въ своихъ физическихъ силахъ; воля его — непреклонная воля».

Рудинъ сомнѣвается въ себѣ,—иначе чѣмъ объяснить вопросъ, предлагаемый имъ Лежневу: «Послушай, вѣдь и ты не станешь отрицать во мнѣ желанія добра?» Непреклонной воли въ немъ нѣть: онъ готовился ко второй и третьей лекціи, потомъ воля ослабѣла, и Рудинъ сталъ импровизировать, Донъ-Кихотъ чуждъ тщеславія,—Рудинъ, передавая о своемъ учительствѣ, только и говорить о впечатлѣніи, которое онъ производилъ на гимназистовъ.

«Донъ-Кихотъ, исколоченный галерными преступниками до невозможности пошевельнуться, ни мало не сомнѣвается въ успѣхѣ своего предпріятія».—Рудинъ всегда сознаетъ неуспѣхъ своихъ предпріятій: «меня понимали плохо,—говорить онъ о своихъ ученикахъ,—«слушатели мои выносили мало изъ моихъ лекцій»; его учительство «послѣдній мыльный пузырь».

Такимъ образомъ, въ эпилогѣ нѣть фактовъ, которые вели бы Рудина въ разрядъ Донъ-Кихотовъ. Это прежній Рудинъ—лѣтній, по словамъ Лежнева, и потому не готовящійся къ урокамъ, хотя онъ сознаетъ, что не знаетъ своего предмета, подтверждая этимъ также слова Лежнева, сказанныя про него, что онъ «не очень свѣдущъ». Въ первой части Лежневъ бросаетъ ему въ укоръ: «Стыдно тѣшиться шумомъ собственныхъ рѣчей!»—Рудинъ эпилога тѣшится имъ передъ гимназистами: вѣдь онъ зналъ, что его понимали плохо, что изъ его лекцій ученики мало выносили,—и все-таки онъ говорилъ передъ ними!

Поэтому невозможно утверждать, что Рудинъ эпилога—это не тотъ герой, какого авторъ изобразилъ въ романѣ. Герой остался тотъ же, какъ типъ, но отношеніе къ нему автора, тонъ, съ которымъ Тургеневъ говорить о немъ, измѣнились.

Въ этомъ отношеніи романъ дѣлится на двѣ части: первая обнимаетъ одиннадцать главъ, вторая—двѣнадцатую главу и эпилогъ. Съ двѣнадцатой главы мѣняется свое мнѣніе о Рудинѣ его нравственный судья Лежневъ, а также самъ авторъ. Въ первыхъ одиннадцати главахъ для него Рудинъ—«путешествующій принцъ», «только на словахъ вѣщъ чистыхъ и преданныхъ душъ», говорить такъ, будто «не высказывается и десятой доли того, что тѣснилось ему въ душу»; уѣзжая отъ Ласунской, хотя и припоминаетъ гордые слова Донъ-Кихота о свободѣ, но плачетъ изъ самолюбія. Въ XII главѣ и эпилогѣ Рудинъ рисуется сочувственнымъ тономъ. Въ его фигурѣ «было что-то беспомощное и грустно-покорное»; «въ похолодѣвшей, какъ бы разбитой рѣчи высказывалась усталость окончательная, тайная и тихая скорбь, далеко различная отъ той полууприворенной грусти, которую онъ шаголялъ бывало». Въ концѣ романа у автора вырывается восклицаніе: «Да поможетъ Господь всѣмъ безпрѣстнымъ скитальцамъ!»

Такимъ образомъ, можно говорить о двойственности въ отношеніи Тургенева къ Рудину, но не о двойственности самого образа героя.

LXII. Вліяніе исторического момента на двойственное отношеніе Тургенева къ Рудину.—Ап. Григорьевъ и проф. Ивановъ сначала

выводили объясненіе двойственнаго отношенія Тургенева къ Рудину изъ личной психологіи автора; затѣмъ второй изъ названныхъ критиковъ сталъ въ объясненіи этого факта на почву психологіи Тургенева, какъ русскаго интеллигента. Психологическія явленія сложны и многосторонни, и все указанное надо принять во вниманіе при объясненіи романа, но должна была быть еще очень важная сторона психологіи Тургенева, которую необходимо раскрыть для уясненія вопроса о двойственномъ отношеніи автора къ типу Рудина. Эта сторона зависѣла отъ исторического момента, въ который былъ созданъ «Рудинъ».

По словамъ К. С. Аксакова, лѣтъ за десять до года написанія романа Тургеневъ изобразилъ бы Рудина «совершеннымъ героемъ». Что же могло направить мысль автора прежде всего въ сторону критического освѣщенія избраннаго имъ типа? Это были тѣ сильныя потрясенія, которыя заставили русское общество 50-хъ годовъ оглянуться на себя, задать себѣ вопросъ, что оно сдѣлало и на что способно, и критически отнестись къ своему прошлому. Эта критика начинается подъ громъ Севастопольской войны, коснувшись всего общественнаго и политическаго уклада жизни Россіи.

Даже людей старого общественнаго закала, пережившихъ еще 1812 годъ, какъ, напр., С. Т. Аксакова, Крымская война волновала совершенно особенно и заставляла, на старости лѣтъ, задавать себѣ вопросы, которые были первымъ шагомъ къ широкому общественному пробужденію: «Мы находимся теперь,—писалъ С. Т. Аксаковъ А. О. Смирновой,—въ исключительномъ положеніи. Мы погружены въ безотрадное горе и въ тревожное ожиданіе новыхъ печальныхъ явленій нашего безысходного положенія. Много великихъ событий совершилось на моей памяти; я помню, какъ возникъ Наполеонъ; но ни одно такъ не волновало меня, какъ настоящее или, лучше сказать, грядущее событие. Самое тяжелое въ нашемъ положеніи—неизвѣстность, туманъ, который насы окружаетъ. Что мы такое? Чего хотимъ, за кого стоимъ? Никто не знаетъ». Подобные вопросы приводили всѣхъ мыслящихъ русскихъ къ печальному отвѣтамъ. Очень опредѣленно смотрѣлъ на военные неудачи Россіи сынъ Сергѣя Тимофеевича Ив. С. Аксаковъ: «Какъ неумолимо правосудна судьба, — писалъ онъ отцу,—какъ жестока въ своей логикѣ! Признаюсь,—я не очень негодую на Горчакова: Севастополь падъ не случайно, не по его милости; я жалѣю, что не было тутъ искуснѣйшаго генерала, чтобы отнять всякий поводъ къ искаженію истины; онъ долженъ быть пастъ, чтобы явилось въ немъ дѣло Божіе, то-есть обличеніе всей гнили правительственной системы, всѣхъ послѣдствій удушающаго принципа. Видно, еще мало жертвъ, мало позора, еще слабы уроки; нигдѣ сквозь окружающую насы мглу не пробивается луча новой мысли, нового начала». А. С. Хомяковъ и Ф. И. Тютчевъ разразились уголовными обличеніями въ духѣ библейскихъ пророковъ, первый—въ стихотвореніи «Россіи», въ которомъ онъ обращается къ ней съ грозными словами.

Помни: быть орудьемъ Бога
Земнымъ созданьямъ тяжело;
Своихъ рабовъ онъ судить строго,—
А на тебя, увы! какъ много
Грѣховъ ужасныхъ налегло!
Въ судахъ черна неправдой черной.
И игомъ рабства клеймена;
Безбожной лести, лжи тлетворной,
И лѣни мертвой и позорной,
И всякой мерзости полна!
О, недостойная избранья,
Ты избрана! Скорѣй омой
Себя водою покаянья,
Да громъ двойного наказанья
Не грянетъ надъ твоей главой!

Тютчевъ предсказываетъ это наказаніе въ стихотвореніи «Навівый 1855 годъ», о которомъ онъ говорить:

Не просто будетъ онъ воитель,
Но исполнитель Божьихъ каръ,—
Онъ совершилъ, какъ поздній мститель,
Давно задуманный ударъ.
Для битвъ онъ посланъ и расправы,
Съ себой несетъ онъ два меча:
Одинъ—сраженій мечъ кровавый,
Другой—сѣкира палача.
Но на кого?.. Одна ли выя,
Народъ ли цѣлый обреченъ?..

Критическое направленіе общества распространяется на всѣ стороны жизни. Славянофилъ А. И. Кошелевъ пишетъ Погодину 9 іюля 1855 года: «Всѣ знаютъ, что въ нась ложь, и даже что остается истины подъ этою покрышкою уже не можетъ принести пользы. Я уговаривалъ Хомякова написать о лжи церковной, а Самарина о лжи правительственной. Я собираюсь написать о лжи помѣщичьей и крѣпостной. Очень бы мнѣ хотѣлось уговорить Кирѣевскаго также написать противъ лжи. Онъ могъ бы выбратьъ своимъ специальными врагомъ ложь общественную или частную».

Это возбужденіе умовъ не было только принадлежностью наиболѣе мыслящихъ людей, но становится общимъ явленіемъ. Погодинъ говоритъ объ этомъ въ одномъ изъ своихъ политическихъ писемъ, которые распространялись въ рукописномъ видѣ: «Умъ уже приведенъ въ движение и самъ собою... Множество вопросовъ, о которыхъ прежде и въ голову инымъ не приходило, обращается повсемѣстно. Новые мысли зарождаются, плодятся и по мѣрѣ сообщенія увеличиваются въ своемъ содержаніи. Возникаютъ различные желанія и надежды. Послышились пѣсни, разыгралась фантазія. Всѣ сословія волнуются одинаковымъ чувствомъ любопытства и живого участія».

Но въ исторической эпохи, подобная эпохѣ Крымской войны, которая глубоко затрагиваютъ общественную психологію, противоположныя настроенія и мнѣнія иногда очень быстро смѣняются другъ друга. Такъ какъ такія эпохи всегда являются переходными,

то и быть твердо установившихся мыслей и настроений, и люди, переживающие ихъ, склонны переходить отъ утверждения къ отрицанію, отъ осужденія къ похвалѣ. Это мы и видимъ въ серединѣ 50-хъ годовъ въ русскомъ обществѣ. А. С. Хомяковъ, написавъ стихотвореніе «Россіи», начинаетъ чувствовать горечь отъ своихъ словъ: «Я написалъ стихи,—говорить онъ въ одномъ письмѣ отъ 4 апр. 1854 г.,—изъ которыхъ, конечно, добросовѣстный человѣкъ не выкинетъ ни слова, и что же? мнѣ вдругъ стало какъ-то жаль, что я нашей Руси наговорилъ столько горькихъ истинъ, хотя и въ духѣ любви; стало какъ-то тяжело. Вѣдь если я сказалъ и если другие прочли и, любя Россію, въ то же время не слишкомъ разсердились на меня, развѣ ужъ это не покаяніе или не знать постоянного, хотя и не выраженного покаянія? Я написалъ другую пьесу...» Эта пьеса—стихотвореніе «Раскаявшейся Россіи». Если въ первомъ стихотвореніи было много горькой правды, то во второмъ уже былъ «возвышающей обманъ». Здѣсь Хомяковъ обращается къ Россіи съ такими словами:

Иди! Свѣтла твоя дорога!
Въ душѣ любовь, въ десницаѣ громъ,
Грозна, прекрасна—Ангель Бога,
Съ огнесверкающимъ челомъ!

Тѣ же смѣны настроений можно видѣть у Погодина. Въ одномъ и томъ же политическомъ письмѣ «О вліяніи виѣшней политики на внутреннюю», давъ сначала мѣткую и сильную характеристику отрицательныхъ сторонъ общественного положенія въ Россіи и предложивъ «лѣкарства» для ихъ устраниенія, Погодинъ вдругъ переходитъ отъ мыслей, питающихъ надежды, къ печальному настроению: «А, можетъ-быть, говорить онъ, это только несбыточныя мечтанія! Можетъ-быть, и мы осуждены на такое же бесплодное исканіе, какъ и Западъ, который предъ нашими глазами ищетъ тщетнаго исцѣленія своихъ болѣзней и попадаетъ большею частью на такія лѣкарства, которыхъ увеличиваются еще болѣе ихъ яростъ».

Тѣ же настроения, въ зависимости отъ войны, то упадка, то оживавшей надежды испытывалъ Тургеневъ во время работы надъ «Рудинымъ». Недолгій періодъ его созданія былъ полонъ событий, одно тяжелѣе другого. 25 мая во время приступа союзниковъ погибло пять тысячъ русского войска; 28 июня смертельно раненъ Нахимовъ; 4 августа произошло крайне неудачное для русскихъ войскъ сраженіе при Черной рѣчкѣ; 5 августа непріятель бомбардировалъ Севастополь; 24 августа была послѣдняя рѣшительная бомбардировка послѣдняго, и 27 августа князь Горчаковъ долженъ былъ отвести войска на сѣверную сторону. Подъ этотъ непрерывный грохотъ орудій, приносившій только неудачи, Тургеневъ изображалъ предшествующій войнѣ періодъ общественной русской жизни... Какимъ другимъ могло быть это изображеніе, какъ ни отрицательнымъ! Вѣдь война, въ глазахъ мыслящей части общества, подводила итоги всей русской жизни. Тургеневъ чувствовалъ это вмѣстѣ съ другими, и у него естественно не могло найтись свѣт-

лыхъ красокъ для изображенія задуманной имъ картины. Какъ Хомяковъ, онъ долженъ быть чувствовать, что общественная жизнь Россіи полна «лѣни мертвой и позорной»; какъ Погодинъ, долженъ быть видѣть, что у насть «умъ притупленъ, воля ослабѣла, духъ упалъ, люди обмелѣли»; и, какъ Кошелевъ, долженъ быть сказать, что «въ насть ложь, и даже что остается истины уже не можетъ принести пользы». И Тургеневъ въ художественной формѣ даетъ отвѣтъ именно на тотъ вопросъ, который Кошелевъ хотѣлъ предложить для разработки Кирѣевскому, говоря, что «онъ могъ бы выбрать своимъ специальнымъ врагомъ ложь общественную или частную».

Въ сохранившихся письмахъ Тургенева къ С. Т. Аксакову, писанныхъ въ періодъ работы надъ «Рудинымъ», находимъ чаще всего грустные мотивы. 3 августа онъ пишетъ: «Живемъ мы въ невеселое время. Война растетъ, растетъ — и конца не видать; лучшіе люди (бѣдный Нахимовъ!) гибнутъ, болѣзни, неурожай, падежи — у насть коровы и лошади гибнутъ, какъ мухи... Впереди еще пока никакого не видать просвѣта. Надо потерпѣть. Еще разикъ, еще разъ, какъ говорятъ бурлаки. Авось все это вознаградится съ лихвой». 5 сентября, подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ извѣстія о паденіи Севастополя, нѣсколько запоздавшаго въ Спасскомъ, у Тургенева вырываются изъ-подъ пера такія строки: «Извѣстіе о Севастополѣ, полученное здѣсь вчера, лишило меня всякой бодрости... Хотя бы мы умѣли воспользоваться этимъ страшнымъ урокомъ, какъ пруссаки Генскимъ пораженіемъ!..»

Той твердой вѣры въ будущее и восторженности передъ нимъ, которая видны въ настроении Хомякова, у Тургенева нѣтъ. Но все-таки и его питали надежды, что отразилось въ первой цитатѣ изъ его писемъ («Еще разикъ...» и проч.). При томъ же Тургеневъ не могъ не знать и не замѣтить тѣхъ явлений, на которыхъ указываетъ Погодинъ, говоря, что «умъ уже приведенъ въ движение». Объ этомъ свидѣтельствуетъ письмо Тургенева къ С. Т. Аксакову отъ 16 октября: «Мнѣ такъ хочется, — пишетъ онъ, — переговорить съ вами о многомъ... Время, въ которое мы живемъ, принадлежитъ къ числу тѣхъ, которые повторяются слишкомъ рѣдко — и всѣ люди, мыслящіе, любящіе свою родину, должны желать сближенія и духовнаго сообщенія». Подобные моменты въ сознаніи Тургенева должны были смягчить строгость его взгляда на предшествующую общественную жизнь. Между послѣднею и возбужденіемъ войною движениемъ умовъ надо было признать преемственную идеиную связь и найти въ «рудинскомъ» періодѣ извѣстную общественную стоимость. Это и выражалось въ переходѣ Тургенева отъ критического освѣщенія типа Рудина къ признанію за нимъ извѣстнаго нравственнаго достоинства.

LXII. Иностранные критики о Рудинѣ. — Иностранные критики смотрѣли на Рудина, преимущественно какъ на русскій характеръ. Датскій критикъ Георгъ Брандесъ говоритъ: «Въ одной изъ его большихъ повѣстей Тургенева, въ «Рудинѣ», изображеніе неустой-

чивости такъ глубоко и такъ полно, что, на основаніи одного этого слабаго характера, научаешься понимать слабую сторону русскаго характера вообще».

Съ подобной же мысли о русскомъ характерѣ Рудина начинаетъ освѣщеніе Тургеневскаго героя французскій критикъ Мельхіоръ де-Вогюэ: «Въ «Рудинѣ» авторъ изучаетъ темпераментъ, принадлежащій собственно всѣмъ временамъ и всѣмъ странамъ, но который какъ будто особенно акклиматизировался въ Россіи. Рудинъ—краснорѣчивый идеалистъ, ловкій на словахъ, неспособный къ дѣйствію. Онъ опьяняетъ себя и другихъ своей многорѣчивостью, бросается въ жизнь какъ ряный потокъ великудушныхъ и свѣтлыхъ идей; но каждое испытаніе жизни обращается противъ него вслѣдствіе отсутствія въ немъ характера... Не имѣя мужества ни для добра, ни для зла, онъ безпрестанно впадаетъ въ пустоту и нищету; стараясь, онъ начинаетъ сознавать свое непоправимое безсиліе; кончаетъ онъ самыи плачевнымъ образомъ».

Характеристику Рудина критикъ заключаетъ слѣдующими словами: «Романистъ коснулся одного изъ величайшихъ недостатковъ русскаго духа и даль своимъ соотечественникамъ полезный урокъ; онъ объяснилъ имъ, что великихъ стремленій недостаточно, что надо соединять съ ними практическій смыслъ, умѣніе владѣть собою». (Сравнить съ мыслями Дружинина, LX.)

LXIV. Литературные образы, напоминающіе Рудина.— Въ 1841 году появился романъ «Орасъ» знаменитой французской писательницы Жоржъ Зандъ, литературная дѣятельность которой имѣла нѣкоторое вліяніе на творчество русскихъ писателей 40-хъ годовъ.

Вотъ характеристика героя этого романа, которую даетъ авторъ изслѣдованія «Жоржъ Зандъ, ея жизнь и произведенія» В. Каренинъ:

«Орасъ человѣкъ одаренный; изъ него можетъ выйти незаурядный писатель, изъ него можетъ выйти и хороший юристъ, и блестящій политическій ораторъ; онъ умень, отзывчивъ на все доброе, онъ понимаетъ все великое и прекрасное, у него живое воображеніе, даръ слова, способность увлекаться и увлекать своихъ собесѣдниковъ». Но въ Орасъ слишкомъ много «себялюбія, самолюбія, тщеславія, самовлюбленности и, главное, постоянной занятости своею личностью,—и эта одна черта парализуетъ всѣ его способности и качества, и изъ Ораса выходить лишь блестящій говорунъ, холодный энтузіастъ и одинъ изъ тѣхъ, столь распространенныхъ между попавшими случайно въ интеллигентную среду лицами, мнимыхъ людей, которыми стало такъ богато европейское общество послѣ все перемѣшавшей и взбудоражившей первой французской революціи. Онъ сынъ мелкаго провинціального чиновника. Бѣдные родители отказываютъ себѣ во всѣмъ, надѣясь, что черезъ немногій лѣтъ сынокъ станетъ на ноги, а сынокъ теряетъ годъ за годомъ, все лишь только собираясь выбрать себѣ подходящую карьеру, критикуя всѣ представляющіяся ему и ничего не дѣлая.

У него такія возвищенные стремління и грандіозныя мечты, что ни адвокатура, ни медицина не могутъ его удовлетворить. Карьера политического оратора кажется ему тоже недостаточно безупречной, недостойной такой исключительной натуры, какъ онъ. Онъ, пожалуй, согласился бы быть литераторомъ и задумываетъ цѣлый десятокъ романовъ, драмъ, повѣстей и рассказовъ, но далѣе заглавій и обозначеній: «первая глава», «первый актъ»—не можетъ ничего заставить себя написать. Трудъ, выдержка, отданіе себя какому-нибудь дѣлу, искусству или науки—вещи для него невозможныя. Онъ проводить время въ безконечныхъ словопреніяхъ и ораторствованіяхъ во всевозможныхъ кафе Латинского квартала, покоряетъ и очаровываетъ всѣхъ благоговѣйно внимающихъ ему сверстниковъ студентовъ жаромъ своего краснорѣчія, силою своихъ доводовъ, рѣзкой критикой существующаго порядка и даже своей привлекательной и оригинальной наружностью».

Типъ Ораса, какъ видно, напоминаетъ нѣкоторыя черты личности Рудина, но сюжетъ романа Жоржъ Зандъ не имѣть ничего общаго съ содержаніемъ произведения Тургенева. Совпаденіе характеровъ Ораса и Рудина дало возможность В. Каренину сдѣлать заключеніе о вліяніи героя Жоржъ Зандъ на образъ Рудина. «Если отбросить,—говорить онъ,—всѣ особенности расы или касты, которыя отличаютъ Рудина отъ Ораса, то передъ нами встало бы одно и то же лицо, одинъ и тотъ же типъ краснобая-энтузіаста, который увлекаетъ другихъ и самъ увлекается своимъ краснорѣчіемъ, но который неспособенъ дѣйствовать».

Предыдущіе комментаріи показываютъ, какъ тѣсно, неразрывно типъ Рудина сплетается съ русскою жизнью 30—40-хъ годовъ, въ ея цѣломъ и въ подробностяхъ, какъ Рудинъ близко подходитъ къ историческимъ русскимъ лицамъ и какъ все произведение Тургенева цѣлкомъ выросло на русской почвѣ. Поэтому мнѣніе Каренина о вліяніи Ораса на Рудина совершенно теряеть смыслъ въ виду явной историчности романа «Рудинъ». Знатокъ русской и французской литературы, переводчикъ русскихъ писателей на французскій языкъ, Гальперинъ-Каминскій, отрицая сближеніе Каренина, указываетъ на національную самобытность Тургеневскаго героя: «Типъ Рудина слишкомъ русскій для того, чтобы авторъ искалъ себѣ модель гдѣ-либо въ Россіи».

К. Ф. Тіандеръ въ книгѣ «Датско-руsskія изслѣдованія» (вып. II) намѣчає рядъ произведеній датской литературы, герой которыхъ напоминаютъ Рудина. Авторъ относить ихъ ко вліянію Тургенева на датскую литературу. Сюда принадлежитъ романъ Шандорфа (1836—1901 г.)—«Безъ центральной точки» (1878). Характеристика героя этого романа Карла Альбректа дана въ письмѣ къ нему его товарища: «Почему случилось такъ, что всѣ твои дарованія нашли себѣ столь скучное примѣненіе къ жизни. Неужели ты предназначенъ къ тому, чтобы растратить свои силы на частныхъ урокахъ? Предлагая этотъ вопросъ, я нахожу на него только одинъ отвѣтъ: ты удалился отъ центральной точки жизни—отъ вѣры»...

«Какой-то писатель,—рассказывает Шандорфъ,—предсказалъ ему блестящую карьеру поэта, доцентъ по философи нашелъ въ немъ несомнѣнную умозрительную способность, профессоръ математики объявилъ его рожденнымъ для своей специальности», но Карлъ Альбректъ только кое-какъ перебивался частными уроками.

К. Ф. Тіандеръ находитъ, что и сюжетъ романа Шандорфа напоминаетъ «Рудина»: «Положеніе Рудина въ гостяхъ у Дарьи Михайловны весьма схоже съ положеніемъ кандидата Альбректа въ домѣ графа Эгернськольда. Какъ Рудинъ, такъ и Альбректъ своими рѣчами очаровываютъ и мать и дочь. И въ томъ и въ другомъ романѣ сама дочь предлагаетъ герою вступить съ нимъ въ бракъ. Свиданіе дочери съ героями въ обоихъ случаяхъ становится известнымъ третьему лицу, которое докладываетъ объ этомъ родителю. И графъ Эгернськольдъ и Дарья Михайловна оба рѣшаютъ отказать своему опасному гостю, но тотъ ихъ предупреждаетъ и самъ уходить раньше, чѣмъ они успѣли привести въ исполненіе свой планъ. Наконецъ Рудинъ имѣеть двухъ противниковъ—Лежнева и Волынцева. Также и Альбректъ—пастора Іергенсена и Отто Хольма. У Шандорфа всѣ трое товарищи по университету, у Тургенева только Рудинъ и Лежневъ, но студенческимъ воспоминаніямъ удѣляется одинаково много вниманія въ обоихъ романахъ».

Второе вліяніе «Рудина» въ датской литературѣ К. Ф. Тіандеръ усматриваетъ въ романѣ «Сверхкомплектный» (1876 г.) Дракмана (1846—1908), но герой этого романа Адольфъ Брунновъ, поскольку можно судить по характеристикѣ, которую даетъ ему К. Ф. Тіандеръ, болѣе напоминаетъ Веретьеву изъ «Затишья» Тургенева, чѣмъ Рудина. Затѣмъ К. Ф. Тіандеръ видѣть вліяніе «Рудина» въ романѣ Якобсена (1847—1885)—«Нильсъ Люне», герой которого является неудачникомъ и въ общественной и въ личной жизни; однако, онъ замѣчаетъ: «Въ образѣ Нильса Люне отразился не столько одинъ какой-нибудь тургеневскій персонажъ, сколько Тургеневъ вообще». Наконецъ, вліяніе «Рудина» К. Ф. Тіандеръ видѣть въ романѣ Эльстера (1841—1881)—«Чужестранная птица» (1881). О герой этого романа Пауль Хорстѣ изслѣдователь говоритъ: «Пауль Хорстъ—чистѣйшій типъ Рудина. Его холодная душа, которая довольствуется въ жизни ролью зрителя, его боязнь систематического труда, его брезгливое отношеніе ко всему трудовому, его краснобайство, его способность увлекаться собственными словами, его готовность встать на защиту благородныхъ идей, если отъ него требуются слова, одни слова, но не дѣло—все это характерно и для Рудина».

Изъ Тургеневскихъ типовъ ближе всего къ Рудину «Гамлетъ Щигровского уѣзда»—Василій Васильевичъ. Исключительно умственная жизнь, отсутствіе воли, неумѣніе использовать окружающее, пассивное отношеніе къ препятствіямъ, широкое образованіе, идейность, воспитанная кружковыми бесѣдами и философией Гегеля,—все это сближаетъ героя названного разсказа съ Рудинымъ. Но между ними есть и глубокое различие: Василій Васильевичъ—

слишкомъ обыкновенный человѣкъ, Рудинъ—очень талантливъ. По своему безволію и постоянному стремлению къ анализу, напоминаетъ Рудина также Чулкатурина, герой «Дневника лишняго человѣка», но въ другихъ отношеніяхъ: по своей мнительности и какому-то мучительному напряженію всего существа, а также безыдейности Чулкатурина очень далекъ отъ Рудина. Вообще, онъ морально-патологический типъ и съ этой стороны не имѣеть общественного значенія. Другіе «лишніе люди» Тургенева, какъ, напр., Веретьевъ («Затишье»), Вязовникъ («Два пріятеля»), Лаврецкій,—по своей нравственной организаціи нисколько не напоминаютъ Рудина.

Кромѣ Тургенева, типъ человѣка, воспринимающаго жизнь съ точки зрѣнія своихъ широкихъ идей, которыхъ онъ не можетъ согласовать съ условіями жизни, и потому вѣчно ищущаго и не находящаго, человѣка широкихъ замысловъ, но слабой воли, былъ изображенъ и другими писателями.

Въ 1851 году въ учено-литературномъ альманахѣ «Комета» (изд. М. П. Щепкина) былъ напечатанъ разсказъ Ал-дра Влад. Станкевича, младшаго брата Николая Владимировича,—«Идеалистъ». Герой разсказа Константина Сергеевича Левинъ, какъ и Рудинъ, воспиталь свой умъ въ кружкахъ молодежи, откуда на-всегда вынесъ идеалистическое настроеніе. Окончилъ Левинъ образование, и «потянулись другіе дни: смущень, озадаченъ юноша представшему ему дѣйствительностью; онъ всматривается въ жизнь съ напряженіемъ, прислушивается ко всѣмъ ея звукамъ, тревожно допрашивается смысла всѣхъ ея явлений; съ недоумѣніемъ и вопросомъ обращается онъ къ людямъ, ихъ дѣламъ и стремленіямъ, и представляется ему, что настоящій смыслъ жизни скрытъ отъ него, и онъ ждетъ, что тайна истины, наконецъ, откроются ему. Нетерпѣливо ждетъ онъ ихъ призыва; а жизнь несетъ мимо, и напрасны его усилия броситься въ ея волны: несокрушимы цѣль и мощь разъ овладѣвшаго имъ идеала. Ноетъ и сохнетъ душа въ безплодной борьбѣ, и потянулись дни безчисленныхъ противорѣчій, безсильнаго бѣшенства, мучительныхъ сновъ и стоновъ». Левинъ становится «наблюдателемъ и созерцателемъ» жизни. Онъ много читаетъ, но самъ неспособенъ что-либо создать: «началь писать какую-то политico-экономическую статью, скоро оставилъ ее и началъ другую, о современной живописи. Не кончивши этой, онъ началь писать повѣсть, которую тоже не кончилъ, и скжегъ. Левинъ называетъ себя «вѣтнымъ странникомъ» и, дѣйствительно, все время переѣзжаетъ съ места на место, «никогда ничему не предаваясь и ни съ чѣмъ не заключая союза». Во время странствій онъ и умираетъ гдѣ-то въ трактире. Самый сюжетъ повѣсти состоять въ томъ, что Левинъ полюбилъ одну искреннюю, свѣтло глядящую на міръ девушкѹ Сонечку, но бѣжать отъ этой любви, находя, что она чужда его идеаламъ. Въ концѣ-концовъ, но «поздно понялъ онъ, что въ жизни являются существа, въ своей живой и движущейся ограниченности болѣе прекрасныя и увлекательныя, чѣмъ безконечность отвлеченныхъ и мертвыхъ идеаловъ совершенства».

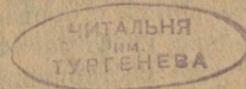
Постоянно сопоставляется съ Рудинымъ герой поэмы Н. А. Некрасова «Саша», которая была напечатана одновременно съ романомъ Тургенева въ январской книжкѣ «Современника» 1856 года. Левъ Алексѣичъ Агарины—«современный герой»—

Книги читаетъ, да по свѣту рыщеть—
Дѣла себѣ исполинскаго ищеть,
Благо наслѣдье богатыхъ отцовъ
Освободило отъ малыхъ трудовъ,
Благо ити по дорогѣ избитой.
Лѣни помышала, да разумъ развитый.
— Нѣть, я души не растрочу моей
На муравьиной работѣ людей:
Или подъ бременемъ собственной силы
Сдѣлаюсь жертвою ранней могилы,
Или по свѣту звѣздой пролечу!
Миръ—говорить—осчастливить хочу!»
Что жъ поль рукаами, того онъ не любить.
То мимоходомъ безъ умысла губить...
Все, что высоко, разумно, свободно,
Сердцу его и доступно и сродно,
Только дающая силу и власть
Въ словѣ и дѣлѣ чужда ему страсть!
Любить онъ сильно, сильно ненавидѣть,
А доведись—комара не обидить!
Да говорятъ, что ему и любовь
Голову больше волнуетъ—не кровь!
Что ему книга послѣдняя скажетъ,
То на душѣ его сверху и ляжетъ:
Вѣрить, не вѣрить.—ему все равно,
Лишь бы доказано было умно!
Самъ на душѣ ничего не имѣть,
Что вчера скаль, то сегодня и сѣть;
Нынче не знаетъ, что завтра сожнетъ
Только навѣрное сѣять пойдетъ.
Это въ простомъ переводѣ выходитъ,
Что въ разговорахъ онъ время проводить;
Если жъ за дѣло возьмется—бѣда!
Миръ виновать въ неудачѣ тогда;
Чуть поослабнуть нетвердымъ крылья,
Бѣдный, кричать: «безполезны усилия!»

З. Буренинъ въ книжкѣ «Литературная дѣятельность Тургенева» указываетъ на сходство Рудина и героя «Бѣсовъ» Достоевскаго, Верховенскаго. — Полное разѣнчаніе рудинскаго типа, полное разоблаченіе его отрицательныхъ сторонъ сдѣлано Достоевскимъ въ «Бѣсахъ». Въ лицѣ Степана Трофимовича Верховенскаго мы встрѣчаемся съ Рудинымъ, уже состарившимся, окончательно расставшимся и умственно и нравственно и дошедшими въ своей жизненной карьерѣ до того положенія, которое пророчески предсказывалъ этому герою Пигасовъ, когда онъ увѣрялъ, что Рудинъ кончитъ тѣмъ, что умретъ на рукахъ престарѣлой дѣвы, которая будетъ думать о немъ, какъ о геніальнѣйшемъ человѣкѣ въ мірѣ. Достоевскій еще усилилъ пророческое предсказаніе Пигасова: его Степанъ Трофимовичъ даже въ барынѣ, у которой онъ состоить приживальщикомъ, не возбуждаетъ о себѣ иного представленія, какъ

только о жалкомъ, «пустомъ, безславномъ и малодушномъ» человѣкѣ. И однакоже этотъ одряхлѣвшій и окончательно выѣтристившій идеалистъ живетъ среди чуждой ему и вполнѣ антипатичной жизни нового поколѣнія все съ тою же юношескою, даже младенческою вѣрою въ свои эстетически гуманные принципы, доведенные имъ почти до смѣшного значенія. Ограженіе типа Рудина какъ психологического явленія, а не какъ созданія Тургенева, можно усмотрѣть въ разсказѣ Е. Чирикова «Инвалиды». Его герой Крюковъ—народникъ; слѣпо вѣруетъ въ общину и артель, какъ въ средства поднять крестьянскую жизнь; онъ живетъ этими вѣрованіями, несмотря на то, что общество ушло отъ нихъ далеко впередь; пробуетъ примѣнить свои идеалы на дѣлѣ, но изъ этого ничего не выходитъ. «Инвалидомъ мысли», разбитый на всѣхъ своихъ позиціяхъ, но не сознаваясь въ этомъ, онъ влачитъ голодную и тосклившую жизнь. По словамъ автора, Крюковъ оторвался отъ дѣйствительности, «не желаетъ считаться съ фактами», «быть одинокъ», «все путешествовалъ и все чего-то искалъ», иногда схватывалъ вдругъ перо и начиналъ нервно писать, но никогда не дописывалъ, рисовалъ въ умѣ «грандіозныя ассоціаціи труда» и т. д.— словомъ, выполнялъ всю рудинскую программу жизни.

57.925



Книгоиздательство „КОММУНИСТЪ“.

Москва, Срѣтенка, домъ 8 (уг. Рыбникова переулка).
Петроградъ, Поварской пер., д. 2, кв. 9, 10 и 11. Тел. 227—42.

Кн. 1. И. П. Покровскій. Государственный бюджетъ Россіи за послѣднія 10 лѣтъ. 2 р.

Кн. 2. Исторія соціализма. Въ монографіяхъ К. Каутскаго, П. Лафарга, К. Гуго и Бернштейна. Перев. Е. и И. Леонтьевыхъ. Ч. I. За обѣ части 7 р.

Кн. 3. М. С. Александровъ. Государство, бюрократія и абсолютизмъ въ исторіи Россіи. 5 р.

Кн. 7. Петъръ Масловъ. Исторія народного хозяйства. 3 р.

Кн. 8. А. М. Коллонтай. Общество и материинство. Государственное страхование материинства. 5 р.

Кн. 10. А. Деборинъ. Введеніе въ философію діалектическаго материализма. Съ предисловіемъ Г. В. Плеханова. 4 р.

Кн. 11. Вл. Краухфельдъ. Въ мірѣ ідей и образовъ. 3 р. 50 к.

Кн. 13. С. Т. Семеновъ. Двадцать пять лѣтъ въ деревнѣ. 3 р.

Кн. 14. Владимиръ Бончъ-Бруевичъ. Духоборцы въ Канадскихъ преріяхъ. 5 р.

Кн. 15. Владимиръ Бончъ-Бруевичъ. Къ исторіи русскаго духоборчества. 5 р.

Кн. 16. Владимиръ Бончъ-Бруевичъ. Новый Израиль. 5 р.

Кн. 17. Владимиръ Бончъ-Бруевичъ. Среди сектантовъ. 5 р.

Кн. 19. Фр. Энгельсъ. Положеніе рабочаго класса въ Англіи. Переводъ съ нѣмецкаго И. и Е. Леонтьевыхъ. 5 р.

Кн. 22. Ю. Каменевъ. Объ А. И. Герценѣ и М. Г. Чернышевскомъ. 1 р. 50 к.

Кн. 23. Б. Авиловъ. Настоящее и будущее народного хозяйства Россіи. 1 р. 25 к.

Кн. 24. Н. Тахтаревъ. Соціологія какъ наука. 2-е изд. 3 р.

Кн. 25. Ю. Каменевъ. Экономическая система имперіализма. 4 р. 50 к.

Кн. 26. К. Марксъ и Фр. Энгельсъ. Манифестъ коммунистической партіи. 3-е изданіе. 2 р.

Кн. 27. В. П. Милютинъ. Рабочій вопросъ въ сельскомъ хозяйстве Россіи. 1 р. 50 к.

Кн. 28. В. П. Милютинъ. Сельскохозяйственные рабочие и война: 3 р. 50 к.

Кн. 29. Ю. Стѣловъ. Карль Марксъ, его жизнь и дѣятельность. З р. 50 к.

Кн. 30. Подъ старымъ знаменемъ. Сборникъ статей. 1 р. 50 к.

Кн. 31. С. О. Загорскій. Война послѣ мира. 5 р.

Кн. 32. Ж. Гедь и П. Лафаргъ. Программа рабочей партіи, ея основа и комментаріи къ ней. 1 р. 50 к.

Кн. 34. И. В. Чернышевъ. Памятная книжка марксиста. 7 р. 50 к.

Кн. 36. Владимиръ Бончъ-Бруевичъ. Волненія въ войскахъ и военные турьмы. 3 р.

Кн. 37. Н. Ленинъ. (Вл. Ульяновъ). Аграрная программа соціаль-демократіи въ 1-й русской революціи 1905—7 г. 4 р.

Кн. 38. Н. Ленинъ. (Вл. Ульяновъ). Изъ исторіи соціаль-демократ. аграрной программы. (Статьи 1901—1906 гг.). 1 р. 75 к.

Кн. 39. Н. Ленинъ. (Вл. Ульяновъ). Новые данные о законѣ развитія капитализма. (Соединенные Штаты). 3 р.

Кн. 40. Н. Ленинъ. (Вл. Ульяновъ). Государство и революція. 2 р. 50 к.

Кн. 41. Н. Ленинъ. (Вл. Ульяновъ). Имперіализмъ, какъ новѣйший этапъ капитализма. 2-ое изд. 2 руб. 50 к.

Кн. 42. Н. Крупская. Народное образованіе и демократія. 3 р.

Кн. 43. Ю. Каменевъ. Борьба за миръ. 2 р.

Кн. 44. Ю. М. Стекловъ. Международная политика рабочаго класса. 1 р. 20 к.

Кн. 50. Мих. Павловичъ (М. Вельтманъ). Французскій имперіализмъ и экономическое развитіе франціи въ XX столѣтіи. 2 р.

Кн. 51. Н. Ленинъ (Вл. Ульяновъ). Аграрный вопросъ въ Россіи къ концу 19го вѣка. 1 р. 75 к.

Кн. 52. Карль Каутскій. Эрфуртская программа. Ц. 4 руб.

Кн. 53. Вл. Мещеряковъ. Націонализация и соціализация земли. 2 р.

Кн. 54-я. Л. Д. Троцкій. Октябрьская революція. 3 р.

Кн. 55. М. П. Павловичъ. (Мих. Вельтманъ). Милитаризмъ, маринизмъ и мировая война. Ц. 2 р. 65 к.

Книгоиздательство „КОММУНИСТЪ“.

Москва, Срѣтенка, д. 8 (уг. Рыбникова пер.).
Петроградъ, Поварской пер., д. 2, кв. 9, 10 и 11. Тел. 227-42.

ОТДѢЛЪ ПОДЪ ОБЩИМЪ ЗАВѢДЫВАНІЕМЪ И. СТЕПАНОВА,

при участіи: Н. Бухарина, П. Дауге, Г. Зиновьева, Ю. Каменева, Н. Ленина,
Н. Лукина, А. Луначарского, Н. Мещерякова, В. Оболенского, М. Ольминского,
В. Орловского, М. Псировского, В. Смирнова, Ю. Стеклова и друг.

К. МАРКСЪ. Собрание сочиненій. Юбилейное изд.

Все изданіе—близкое къ полному собранію сочиненій—составить до 35 томовъ по 25—30 листовъ (400—500 стр.) большого формата. Въ это юбилейное изданіе войдутъ какъ всѣ работы, появившіяся до сихъ поръ въ Германии и Англіи отдельными изданіями, такъ и работы, разсѣянныя по разнымъ періодическимъ изданіямъ.

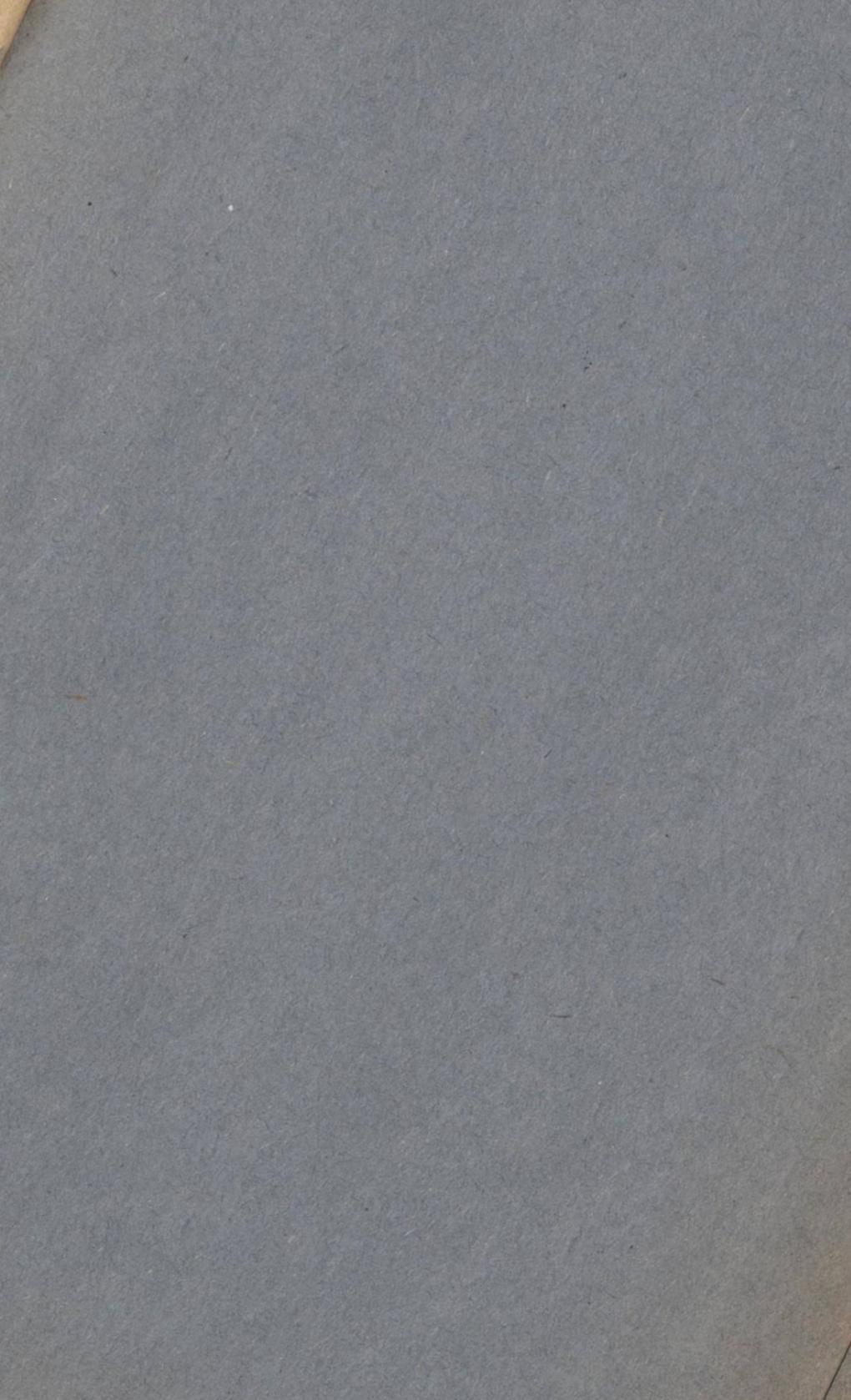
Въ настоящее время печатаются: „Теорія прибавочной стоимости“ въ переводе Н. И. Бухарина; „Капиталъ“ и дополненное изданіе „Собрание историческихъ работъ“, въ переводахъ подъ ред. В. Базарова и И. Степанова, вновь пересмотрѣнныхъ И. Степановымъ.

Ф. ЭНГЕЛЬСЪ. Собрание сочиненій.

Немѣчены три тома большого формата, по 25—30 листовъ каждый. Въ „Собрание“ войдутъ какъ работы, появившіяся отдельными изданіями, такъ и журнальныя статьи Энгельса.

Книжные склады и магазины „Коммунистъ“ (Москва, Срѣтенка, д. 8 (уг. Рыбникова пер.), и 2-й домъ Совѣтовъ, Театральная площадь) принимаютъ на себя выполненіе всѣхъ книжныхъ заказовъ какъ для частныхъ лицъ, такъ и для партійныхъ, совѣтскихъ, городскихъ, общественныхъ и правительственныйыхъ учрежденій и учебныхъ заведеній всѣхъ комиссаріатовъ.

Выполняютъ заказы по пополненію и устройству новыхъ книжныхъ складовъ и магазиновъ. Высылаютъ регулярно всѣ новинки книжного рынка. Составляютъ новыя и пополняютъ уже существующія библіотеки и читальни. Подбираютъ книги для частныхъ лицъ по всѣмъ отраслямъ знанія. Книжные склады принимаютъ изданія какъ на комиссію, такъ и на главный складъ. Въ провинцію книги высылаются наложеннымъ платежомъ.



BIBLIOTEKA TURGENEVA



42964